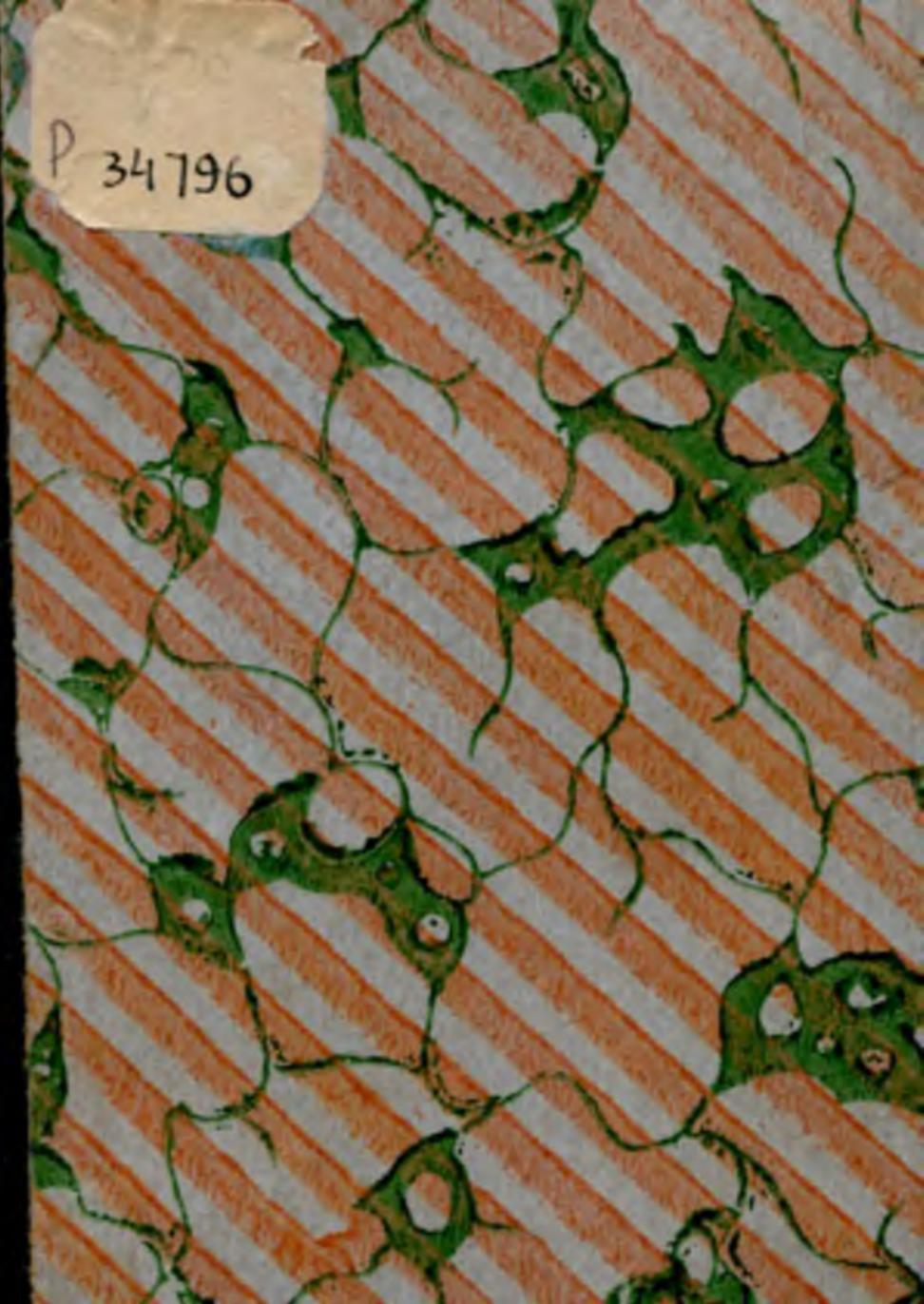


P 34796



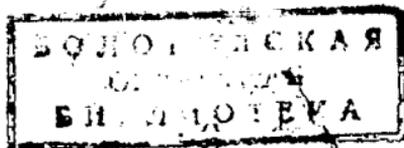


АЛЕКСАНДР БЛОК,

О РОДИНЕ

Подготовка текста и вступительная статья

Вл. ОРЛОВА



ОГИЗ

Государственное издательство
художественной
литературы
Москва
1945

АЛЕКСАНДР БЛОК И РОССИЯ

За ним всё стояли и горячо звали к себе — его три фигуры: его Вера, его Марфинышка, бабушка. А за ними стояла и сильнее их влекла к себе — ещё другая, исполинская фигура, другая великая «бабушка» — Россия.

Гончаров

1

Родина, Россия, вопрос об её судьбах, об её прошлом, настоящем и будущем — такова центральная тема философско-исторического, общественного и художественного мировоззрения Александра Блока, проходящая сквозь всё его творчество. «Этой теме я сознательно и бесповоротно посвящаю жизнь», — сказал он в 1908 году. Последний великий поэт дореволюционной России, оставивший глубочайший след в истории нашей национальной культуры, Александр Блок был верным и любящим сыном своей родины. Ей посвятил он свои лучшие вдохновения, во имя её славы и благоденствия мужественно порвал со старым миром и навсегда связал свою судьбу гражданина и художника с революционным народом.

Образ родины возникает уже в самых ранних стихах Блока, запечатленный в импрессионистически беглых очертаниях русского пейзажа:

Кругом далёкая равнина
Да толпы обгорелых пней.
Внизу — родимая долина,
И тучи стелятся над ней...

И о России же, о родной земле писал Блок в самом конце жизни, в предсмертных набросках к незаконченной поэме «Возмездие»:

И дверь звенящая балкона
Открылась в липы и в сирень,
И в синий купол небосклона,
И в лень окрестных деревень...
И по холмам и по ложбинам,
Меж полосами светлой ржи,
Бегут, сбегаются к рвинам
Темнозелёные межи,
Стада белеют, серебрятся
Далёкой речки рукава...

...и видная едва

Белеет церковь над рекою,
За ней опять — леса, поля...
И всей весенней красотою
Сияет русская земля...

Но ещё более существенно то обстоятельство, что всё творчество Блока проникнуто глубоким чувством России, чувством неразрывной, органической связи поэта с родиной, с родным народом, с его историей и культурой.

Поэзия Блока — это целый мир, обширный и сложный, мир идей и образов, многие из которых должны показаться современному читателю странными и чуждыми. Блок долго блуждал по трудным и извилистым путям ложных идейных исканий, медленно и мучительно преодолевая противоречия своего мировоззрения. Молодой Блок, испытывая влияние религиозно-мистической философии, отворачивался от страшившей его действительности, уходил в область мечты и фантазии, замыкался в узком кругу отвлечённых лирических переживаний. Первая книга Блока — «Стихи о прекрасной Даме» — воплощает характерные черты смутного и противоречивого сознания человека, не установившего прямой связи с окружающим миром, с живой жизнью. Эта книга свидетельствует о том, с каких далёких позиций пришёл Блок к приятию социалистической революции.

Но при всех крутых поворотах жизненного и творческого пути

дота в нем была перспективная прямизна и неуклонность, и недаром сам Блок, оглянувшись в исходе жизни назад, сказал, что это был «путь среди революций, *верный* путь». Да, творчество Блока не свободно от глубоких и резких противоречий, отражавших, в свою очередь, противоречия, заложенные в самой русской действительности накануне революции. Но не они, не эти противоречия составляют существо поэзии Блока, а его гуманизм, демократическое чувство, высокое душевное благородство и «бесстрашная искренность» (черта, подмеченная М. Горьким), и его всегдашняя тревога за судьбу родины и владевшее им предчувствие величайших исторических событий — всё, что так вдохновенно, с такой необыкновенной эмоциональной силой выразил его творческий гений.

И при этом всё многообразие лирических тем Блока как бы сливается в одну генеральную для его творчества тему России. Андрей Белый справедливо говорил, что в пору творческой зрелости Блока выявился «подлинный центр качания маятника» его поэзии — Россия, в теме которой слились и «Дева Неба» и «Маска», и «Прекрасная Дама» и «Незнакомка» — противоречивые образы его ранней лирики (А. Белый, Поэзия Блока, сб. «Ветвь», М., 1917).

Блок не сразу пришёл к постановке и решению этой темы в своём творчестве. Юношеские его стихи — внеисторичны, в отвлечённой форме трактуют общие проблемы морали, религии и искусства. Может быть, единственным исключением из них является стихотворение 1899 года «Гамаюн, птица вещая», в котором под впечатлением живописи В. Васнецова воссоздан поэтизированный образ сказочной птицы, вещающей об исторических судьбах древней Руси:

На глядах бесконечных вод,
Закатом в пурпур облечённых,
Она вещает и поёт,
Не в силах крыл поднять смятённых...
Вещает иго злых татар,
Вещает казней ряд кровавых,
И трус, и голод, и пожар,
Злодеев силу, гибель правых...

Предвечным ужасом объят,
Прекрасный лик горит любовью,
Но вещей правдою звучат
Уста, запёкшиеся кровью!..

Но это стихотворение не характерно для раннего Блока. Всецело поглощённый мистической идеей Души мира — Вечной женственности, как некоего божественного начала, долженствующего обновить жизнь во вселенских масштабах, он откровенно признавался что «мир для мистика... ближе, чем народ» и что он «не чувствует участия народа и общества» в мистической благодати Вечной женственности (письма к А. Белому, 1903 г. — см. А. Блок и А. Белый. Переписка, М., 1941, стр. 35 и 44). Подобные настроения оборачивались полнейшим равнодушием молодого Блока ко всякой «общественности».

Однако сама жизнь вносила решающие поправки в мистически созерцательные иллюзии Блока. Увлекавшая юного поэта апокалиптическая идея «конца мира» потеряла для него значение; он приходит к убеждению, что «кончается» не мир, но какой-то этап исторического процесса. Именно влияние жизни, постижение реальных противоречий действительности, а не иллюзорно-мистические коллизии сознания определили пути и перепутья идейно-творческого развития Блока. И именно на этих путях пришёл он к теме России.

Ещё до первой русской революции 1905 года Блоком овладел острое предчувствие гибели старого мира. Революция открыла перед ним, говоря его же словами, «подлинное лицо жизни» (и притом — русской жизни в её национальном типе), пробудила в нём присущее всякому подлинному и честному художнику чувство общественной ответственности, чувство связи с народом и обществом. Не случайно именно в 1905 году в творчестве Блока впервые по-настоящему возникает тема родины — в стихотворении «Осенняя воля».

Идейный смысл, вмещённый в образы этого замечательного стихотворения, раскрывается в написанной год спустя статье «Безвременье», которая вообще служит важным документом, ха-

рактизирующим перелом, происшедший в общественном сознании Блока под влиянием революционных событий. Здесь Блок впервые внятно заговорил о моральном и культурном одичании человека, опутанного «смердной паутиной» царского политического режима и буржуазного общественного быта. Запутавшийся в сомнениях и противоречиях, этот человек, — по мысли Блока, — утратил представление о жизни свободной, красивой, творческой и впал в «безмерное отчаянье». В личном плане разочарование в утешающей мистике обернулось в Блоке болезненно обострённым ощущением всеобщего и рокового неблагополучия. Этим ощущением были проникнуты первые лирические драмы Блока, в которых он предал жестокому осмеянию свои прежние религиозные и эстетические ценности: мистериальное ожидание Вечной женственности оказалось «балаганчиком», Прекрасная Дама — «картонной невестой».

Человек очутился на распутьи. «Радость остыла, потухли очаги... Двери открылись на выюжную площадь». В такую эпоху «безвременья» «появляются бродяги», бескорыстные искатели правды и счастья. Их томит «щемящая тоска неисполнимых желаний»; они вышли из своих «паучьих жилищ» на «голос выюги», которая поёт им «песню, сулящую полёт», и зовёт «в путь бесконечный» — на «луг зелёный», на «бесконечную равнину» России, в народ. В этой связи в творчестве Блока возникают темы бродяжничества, цыганской «вольной Руси» и «пути» — к народу, к России, получающие дальнейшее широкое и углублённое развитие в его художественной и публицистической практике. Кстати сказать, мотив «пути» красной нитью проходит сквозь все стихи Блока о России: «Выхожу я в путь, открытый взорам...», «И пойду путём-дорогой, тягостным путём...», «Где все пути и все распутья...», «Наш путь степной, наш путь — в тоске безбрежной, в двоякой тоске, о Русь!..», «И невозможное возможно, дорога долгая легка...», «Наша русская дорога...», «И опять влечёт неудержимо вдаль из тихих мест путь шоссеиный...», «Рождённые в года глухие пути не помнят своего...», «Да, ночные пути, роковые, развели нас и вновь свели, и опять мы к тебе, Россия, добрели из чужой земли...»

В годы реакции, наступившие после поражения революции 1905 года, Блок, окончательно разуверившись в соблазнах одряхлевшей и вырождавшейся буржуазной культуры, воодушевлялся идеями верности и служения художника своему народу. В ряде статей и публичных докладов он призывал интеллигенцию к сближению с народом, утверждая, что только там — в народе и с народом — «все пути», что только народу принадлежит будущее России, что только народ является источником «жизненной силы», что, в частности, только то искусство жизнеспособно, которое уходит корнями в национальную народную культуру. Эти темы были разработаны Блоком в лирике (цикл «На поле Куликовом» и другие) и в драме «Песня Судьбы»; они же нашли глубокое отражение в письмах и дневниковых записях Блока.

Единственным критерием искусства для зрелого Блока становится *правда жизни*. И более всего он был озабочен, в какой мере его собственное творчество отвечает этому критерию. Поистине с бесстрашной искренностью и громадной человеческой страстью он срывал с «лица жизни» всяческие украшающие покровы. Уже не «манекены», «маски» и «тени» «Балаганчика», (в которых он пытался по-своему разоблачить лживость мистически иллюзорных представлений о жизни), но живые люди и реальные противоречия их бытия и сознания стали предметом его искусства.

В годы реакции Блок вырастает в поэта с широчайшей философской и социально-исторической проблематикой. При этом творчество его приобретает революционный накал. Чуткий и честный художник, он назвал открывшийся ему мир социального неравенства, эксплуатации и произвола «страшным миром» и проклял его. «Душа мытарствует по России в XX столетии», — сказал Блок однажды. Об этих мытарствах человеческой души и говорит его лирика, историческая в широком смысле слова, раскрывающая трагические переживания обездоленного, отчаявшегося человека, обречённого на жалкое, неполноценное существование в «страшном мире» капитализма:

....меры нет страданью человека,
Ослепшего в ночи!

Зрелый Блок, как никто из русских поэтов предреволюционной эпохи, умел показать в частном общее, в личном общественное, вмещая в свои лирические темы конкретно историческое содержание. Его лирика создаёт цельный, художественно обобщённый образ «одичавшего мира», где «лжи и коварству меры нет», где «богатый зол и рад» и «унижен бедный», где царят обман, лесть и влато, где опошлено и унижено всё прекрасное, чистое и высокое, где человек забывает «о доблестях, о подвигах, о славе», где нет и не может быть истинного счастья. Велика была ненависть Блока к этому миру, и он выразил её в своих стихах с могучей поэтической силой, призывая современников открыть глаза на «непроглядный ужас жизни» и предвещая приближение «невиданных мятежей», несущих справедливое возмездие за все муки и унижения, выпавшие на долю человечества.

И за всем этим стоит в творчестве Блока грандиозный образ России, родины, «вольной Руси», в которой — «все пути» и все надежды. Россия — это и есть главная героиня поэзии Блока. Недаром он утверждал, что «душа России» и его собственная душа едины и нераздельны, что всё происходящее в России происходит также и в его душе.

2

Тема родины, её истории, её судьбы, выдвигается в первый ряд лирических тем Блока в 1907—1908 годах. Именно в это время складывается его концепция России — «не как государства» или «национального целого», а как некоей «лирической величины», полной «музыкального смысла». Самое понятие «Россия» он определяет словами: народ, народная душа, стихия; в блоковском понимании они равнозначны. Концепция эта сильно осложнена метафизическими мотивами, ведущими происхождение от современной Блоку идеалистической философии истории. В ней явственно различимы следы влияния славянофильского учения и социально-христианской утопии Достоевского. Самый образ России первонач-

чально разрабатывался Блоком в традициях Тютчева и Хомякова, отчасти Аполлона Григорьева. Это колдовская, «дремучая», «нищая» и «прекрасная» Русь,

Где все пути и все распутья
Живой кляукой измождены,
И вихрь, свистящий в голых прутьях,
Поёт преданья старины...

Но с этим романтико-славянофильским началом в поэзии Блока боролось и побеждало иное, демократическое, начало, выражавшее идею народной революции. В письме к В. Розанову Блок самыми прямыми словами сформулировал свою «концепцию живой, могучей и юной России», мужающей «в сердце русской революции». Она предстала Блоку в образе гоголевской необгонимой тройки. В своих стихах и статьях Блок развил и дополнил этот динамический образ родины, устремлённой вперёд, в будущее, в «даль веков» («Летит, летит степная кобылица, и мнёт ковыль...»). Насколько неукротима была ненависть Блока к «страшному миру» старой царской России, настолько велика была его любовь к этой юной народной России, накапливающей свою революционную энергию, с которой «никакой громомовод не сладит». Для этой России он находил самые проникновенные слова, и донныне сохранившие всю свою вдохновляющую силу.

Национальная идея нашла глубокое и многостороннее выражение в творчестве Блока, но в то же время в его любви к России не было ничего от националистической ограниченности. Россия Блока — это страна «разноликих народов». Он пришёл к убеждению, что России предстоит сыграть великую, всемирно-историческую роль в жизни человечества. При этом будущая Россия неизменно мыслилась Блоком как «великая Демократия». Национальное не противопоставлялось им общечеловеческому, но служило в его понимании самобытной формой участия в строительстве мировой культуры. Блок говорил, что мы, русские, «любим всё», и «помним всё», что было и есть ценного в истории человечества. Он утверждал, что именно любовь к России «клонит его к интернацио-

нальной точке зрения», и провозгласил лозунг «мира и братства народов», сзывал их на «братский пир труда и мира».

В этой связи должны найти правильное истолкование устойчивые «антизападнические» настроения Блока. Еще в 1903 году он вла высмеивал пошлость и бездушность той среды «умеренности и аккуратности», с которой столкнулся в Германии. В дальнейшем путешествия Блока по Европе раскрыли перед ним духовное убожество и бесчеловечность буржуазной цивилизации, превратившейся в средство унижения людей и орудие их истребления. Пафос резкого осуждения европейского Запада заключался для Блока не в шовинистической нетерпимости, но в апелляции к душевной широте и творческой энергии русского человека, национальному характеру которого чужд и враждебен дух мещанского благополучия.

Блок вошёл в литературу как участник символистского движения, возникшего на рубеже XIX и XX веков на почве распадавшейся буржуазной культуры. Однако великим поэтом, классиком русской поэзии он стал не только независимо от своей причастности к символизму, но, в значительной мере, и вопреки ей. Во всяком случае художественное мировоззрение Блока в пору его творческой зрелости никак не укладывается в символистскую теорию искусства. Для нашей темы особенно существенно то обстоятельство, что мышление Блока было историчным.

Эпоха разложения буржуазной культуры характеризуется катастрофическим упадком исторической мысли. На своём закате буржуазия не только не могла развернуть обобщающие исторические концепции, но в её идеологии вообще игнорировались закономерности истории, самые основы исторического понимания действительности. Антиисторичным было и измельчённое буржуазное искусство этой эпохи,— в частности литература русского символизма, в которой живое чувство истории, как правило, подменялось мёртвой ретроспекцией и внешней декоративностью.

Совсем иное мы встречаем в творчестве зрелого Блока. Оно исторично прежде всего потому, что служит художественным отражением исторического процесса, а во-вторых, потому, что поэт

ощущал себя самым участником этого процесса, связывая воедино свою личную судьбу с судьбами своей страны, своего народа, своей культуры, и больше того: с историческими судьбами всего мира. Можно сказать, что чувство истории было в Блоке основным, господствующим. Оно слагалось из тревожного ощущения неблагополучия современной эпохи и не менее острого предчувствия приближающейся революционной бури. В этом был исторический реализм Блока — черта, резко отделяющая его от громадного большинства русских символистов.

Блоку было присуще необыкновенно живое ощущение «связи времён» — прошлого, настоящего и будущего. Не случайно тема «перевосхождения» лирического героя в разные эпохи истории занимает в его творчестве заметное место:

Всё это было, было, было,
Свершился днсь круговорот.
Какая ложь, какая сила
Тебя, прошедшее, вернёт?
В час утра, чистый и хрустальный,
У стен Московского Кремля,
Восторг души первоначальный
Вернёт ли мне моя земля?
И в новой жизни, непохожей,
Забуду прежнюю мечту,
И буду так же помнить дождь,
Как нынче помню Калиту?..

Слабест жизни гул упорный.
Уходит вспять прилив забот.
И некий ветер сквозь бархат чёрный
О жизни будущей поёт...
Кто даст мне жизнь? Потомок дождя,
Купец, рыбак иль иерей
В грядущем мраке делит ложе
С грядущей матерью моей?
Быть может, венецейской девы
Канцонной нежной слух пленя,
Отец грядущий сквозь напевы
Уже предчувствует меня?..

Это чувство личного участия в историческом процессе приобретало в поэзии Блока характер отчётливого и удивительно конкретного ощущения прошлого в его неразрывной связи с настоящим («Нет! Всё, что есть, что было,— живо!..»). Образы истории для Блока — не мёртвая ретроспекция, не условно «историческая» декорация. Древнерусский воин из ополчения Дмитрия Донского (в цикле «На поле Куликовом») — это герой лирический, это сам поэт, ощутивший себя участником Куликовской битвы. С ещё большей отчётливостью это ощущение передано в одновременной драме «Песня Судьбы», в монологе её центрального героя — Германа (в котором не трудно узнать самого Блока):

«Всё, что было, всё, что будет,— обступило меня: точно эти дни живу я жизнью всех времён, живу муками моей родины. Помню страшный день Куликовской битвы.— Князь встал с дружиной на холме, земля дрожала от скрипа татарских телег, орлиный клёкот грозил невзгодой. Потом поползла зловещая ночь, и Непрядва убралась туманом, как невеста фатой. Князь и воевода стали под холмом и слушали землю: лебеди и гуси мятежно плескались, рыдала вдовица, мать билась о стремя сына. Только над русским станом стояла тишина, и полыхала далёкая зарница. Но ветер угнал туман, настало вот такое же осеннее утро, и так же, я помню, пахло гарью. И двинулся с холма сияющий княжеский стяг. Когда первые пали мёртвыми чернец и татарин, рати сшиблись, и весь день дрались, резались, грызлись... А свежее войско весь день должно было сидеть в засаде, только смотреть, и плакать, и рваться в битву.. И воевода повторял, остерегая: рано ещё, не настал наш час.— Господи! Я знаю, как всякий воин в той засадной рати, как просит сердце работы, и как рано, ещё, рано!.. Но вот оно — утро! Опять — торжественная музыка солнца, как военные трубы, как далёкая битва... а я — здесь, как воин в засаде, не смею биться, не знаю, что делать, не должен, не настал мой час! — Вот зачем я не сплю ночей: я жду всем сердцем того, кто придёт и скажет: «Пробил твой час! Пора!»

Вся образная ткань этого монолога (взятая из народного сказания) — та же, что и в стихах «На поле Куликовом». Здесь, как

и в цикле, история явно переключается с современностью. В примечании к стихотворному циклу Блок сказал: «Куликовская битва принадлежит, по убеждению автора, к символическим событиям русской истории. Таким событиям суждено возвращение. Разгадка их ещё впереди». И в стихах, и в драме образы далёкого исторического прошлого привлечены Блоком для решения актуальнейшей современной проблемы — проблемы России, народа и интеллигенции. Фаина в «Песне Судьбы» — это персонифицированный образ России; Герман — современный герой, заблудившийся на перепутьях тщетных интеллигентских исканий и пытающийся обрести прямые пути к России, к народу. В сопоставлении с этой драмой и особенно со статьей «Народ и интеллигенция» полностью раскрывается публицистический смысл стихов «На поле Куликовом».

Для исторического мышления Блока вообще весьма характерен метод ассоциативного сближения прошлого с настоящим, установления исторических параллелей и аналогий. Так, нельзя полностью раскрыть замысел, положенный в основу поэмы «Двенадцать», вне соотнесённости её с очерком Блока о «римском большевике» Катилине, где мотивирована параллель между Римской империей эпохи упадка и капиталистической Россией накануне её крушения.

Однажды Блок сказал, что он «писал стихи, потом пьесу, потом статью — на одну тему». Стихи о Куликовом поле, «Песня Судьбы» и статьи о народе и интеллигенции наилучшим образом подтверждают это. Таков вообще был принцип творческой работы Блока, и потому его статьи являются важным дополнением и как бы автокомментарием к стихам и драмам.

Живое чувство истории, чувство личного участия в её процессе — обусловило совершенно особый, лирический характер темы родины, незримо присутствующей в подавляющем большинстве стихотворений зрелого Блока. Обобщающий образ его лирики — именно Россия, и не только в тех стихах, где прямо говорится о родине. Не только «низкий дым над овином», «три стертых шлеи», «наша русская дорога», трубы и гудки Новой Америки и тому подобное, но и жандарм на платформе заброшенной станции, хмельной матрос, погибающий авиатор, визжащая на заре цыганка, похороны «мод-

ного литератора», поэт, пригвожденный к трактирной стойке, «кра-
ный штоф полинялых диванов» в сомнительной гостинице, вады-
хающийся рысак, «ледяная рябь канала», нищие на мосту, бродяга,
греющийся у ночного костра,— короче говоря, вся образная ткань
лирики Блока создаёт подлинно историческую картину русской
действительности предреволюционного времени. Тема личной тра-
гической судьбы поэта в третьем томе лирики Блока органически
включена в общую тему «страшных лет России». И, конечно,
Блок имел право сказать, что все его стихи посвящены в сущ-
ности этой теме. Однажды, когда он читал с эстрады разные свои
стихи, а слушатели требовали стихов «о России», он ответил: «Это
всё — о России!»

Поэтому так трудно выбрать из лирики Блока «стихи о России»
по внешне тематическим признакам. Да и сам поэт строил соответ-
ствующие отделы своих книг, исходя из своего лирического и нам
не всегда ясного ощущения темы России. Так, например, в сборник
«Стихи о России», изданный в 1915 году, он включил такие, ка-
зались бы, прямо не относящиеся к этой теме произведения, как:
«Я живу в отдалённом скиту», «Полюби эту вечность болот»,
«В октябре». А в цикле «Родина» (в третьем томе лирики Блока)
мы находим стихи («Дым от костра...», «Приближается звук...»,
«Дикий ветер...»), которые, очевидно, какими-то очень сложными
ассоциациями связывались в представлении Блока с темой России
(и в то же время многие стихи на эту тему не вошли в данный
цикл, а были помещены в других отделах).

Собственно лирические темы Блока объединяются с темой ро-
дины, смешиваются с нею, переплетаются, взаимно проникают друг
друга. Читая стихи Блока, мы всё время наблюдаем этот процесс
взаимопроникновения, своего рода диффузии лирических тем. К при-
меру, стихотворение «Посещение» есть не что иное, как воспоми-
нение о юношеской любви поэта. Известен и реальный адресат этого
лирического обращения,— и в этой связи понятны и «синие очи»
и «постаревшее лицо». Однако Блок включил это стихотворение
в цикл «Родина», как бы подсказывая нам иное истолкование его
образов. И тогда образ женщины, наклонившейся над постелью

поэта, вырастает в образ России, которую «помнит и любит» лирический герой. И в этой связи предельно расширяется поэтический смысл заключительных строк стихотворения:

Долгих лет нескончаемой ночи
Страшной памятью сердце полно.

В лирике Блока переплетается всё — и личная страсть, и чувство долга, и любовь к родной земле, и ненависть к «лживой жизни», и вера в «новый век». Именно поэтому столь лирический характер приобрела в творчестве Блока тема родины, которую поэт воспринимает как живое существо. Говоря, что всякий писатель, «верующий в свое призвание», «сопоставляет себя со своей родиной, полагая, что боится ее болезнями, страдает ее страданиями, сораспинается с нею», Блок утверждал: «Чем больше чувствуешь связь с родиной, тем реальнее и охотнее представляешь её себе как живой организм».

Самый образ России принимает в стихах Блока совершенно своеобразное, новое для русской поэзии лирическое воплощение. Россия Блока — не мать, какой она изображена русскими поэтами XIX века, а тоскующая жена или возлюбленная, и отношения поэта с нею напоминают настоящий любовный роман. «О, Русь моя! Жена моя!..», «О, бедная моя жена...», «Русь моя! Жизнь моя!..», «...невеста, Россия» — так обращается Блок к родине. Она предстает ему то «статной» царевной, которая «обнимает рукой» и «оплетает косой», то девушкой «разбойной красоты», в узорном платке, надвинутом до бровей. Этот образ России — красавицы, возлюбленной, жены — наделен живыми человеческими чертами: «Шопотливые тихие речи, заплывшие щёки твои...»

3

Стихи о России с наибольшей отчётливостью выявляют путь Блока к революции. Легко можно проследить, как тема родины в его творчестве всё более и более наполняется общественным содержанием, проникается пафосом гражданственности. Отношение

поэта к России не претерпевает при этом сколько-нибудь разительных изменений: в «Новой Америке» образ России столь же лирический и поэтизированный, как и в стихах 1907—1908 годов. Тем не менее в связи с общей эволюцией художественного мировоззрения и поэтического стиля Блока гоголевская лирическая патетика и романтико-славянофильская «сказочность» выветриваются во многих наиболее характерных стихах его третьего тома: «На железной дороге», «Грешить бесстыдно, непробудно», «Петроградское небо мутилось дождем», «Коршун» (или «Перед судом» и «Унижение», по существу также связанные с темой России). Родина в самом деле обернулась поэту «новым ликом». Перед нами уже не «тёмная», «колдовская» Русь «с болотами и журавлями», а реальная историческая Россия десятых годов XX века, которую поэт одновременно и любит и ненавидит.

Любовь и ненависть с равной силой звучат в стихах Блока о России,— глубочайшая любовь к родной земле, к родному народу и жгучая революционная ненависть к тем, кто позорит родину и угнетает народ. В этом Блок был бескомпромиссно верен благородным вековым традициям русской литературы, традициям Лермонтова и Толстого, Белинского и Чернышевского, Щедрина и Некрасова. Вся русская революционно-демократическая мысль жила этими традициями. «Нам больше всего видеть и чувствовать, какими насилиям, гнёту и издевательствам подвергают нашу прекрасную родину царские палачи, дворяне и капиталисты,— писал Ленин в статье «О национальной гордости великороссов».— Мы полны чувства национальной гордости, и именно поэтому мы особенно ненавидим своё рабское прошлое... и своё рабское настоящее» (Соч., т. XVIII, стр. 81).

«Кто живёт без печали и гнева, тот не любит отчизны своей». Эти стихи Некрасова прекрасно характеризуют отношение Блока к России. Печаль и гнев — это было именно то, с чем жил он в годы между первой революцией и Октябрём. «А на улице — ветер, проститутки мёрзнут, люди голодают, их вешают; а в стране — «реакция»; а в России жить трудно, холодно, мерзко», — говорил Блок, призывая интеллигентов стряхнуть мёртвый «аполлинический»

сон, отрешиться от «красивых уютов». Он жил, ненавидя и презирая всё, что позорило национальное достоинство России, всё, унижало патриотическую гордость русского человека. Он писал об этом с громадной страстью и неизменной бесстрашной искренностью по отношению к самому себе:

...хочу и не смею убить —
Отмстить малодушным, кто жил без огня,
Кто так унижал мой народ и меня!
Кто запер свободных и сильных в тюрьму,
Кто долго не верил огню моему,
Кто хочет за деньги лишить меня дня,
Собачью покорность купить у меня...

Сквозь печаль и гнев в сознании Блока вставал образ новой, будущей великой России, очищенной от всяческой скверны огнём народной революции. К этой и только к этой России был устремлён поэт, обречённый на безрадостное томление во тьме отжившего старого мира, но никогда не терявший веры в лучшее будущее. Эта вера спасла Блока от декадентского отворачивания от жизни: в «непроглядной тьме» он видел проблески зари:

И я люблю сей мир ужасный:
За ним сквозит мне мир иной —
Неописуемо прекрасный
И человечески простой...

Из сказанного не следует, конечно, делать слишком прямолинейные выводы. Блок порою бывал чрезмерно чуток к колебаниям социальной атмосферы, переживал попеременно периоды то высокого духовного подъёма, то резкого упадка. Это сказалось и в стихах Блока о России. Иногда она представлялась ему только «сонным маревом», и в такие свои «ночные часы» он говорил о ней в том сомнении: «Эх, не пора ль разлучиться, раскаяться; вольному сердцу на что твоя тьма?..» Адрес этих стихов ясен: речь идёт о тёмной России царей, тюрем, сибирской каторги; поэт впадает здесь в сомнение, рассеется ли когда-нибудь это «сонное марево». Однако подобные настроения были временными, преходящими; не они определяют тональность стихов Блока о России. В основном в них

от «Куликова поля» до «Скифов» — звучат совсем иные и очень постоянные ноты: «Пусть ночь. Домчимся...», «Нам ясен долгий путь», «Не пропадёшь, не сгинешь ты...», «Тянет гарью горящей, свободной, слышны гуды в далёкой дали...» Источником этой окрыляющей веры в новую, юную Россию был для Блока русский народ. Пусть присущее Блоку ощущение надвигающейся революции, как стихийного катаклизма, «мирового пожара», было смутным, но в самом главном он не ошибался — в революционной воле народа, в его великой моральной и творческой силе, в том, что правда на его стороне.

Это — «Россия в мечтах». Но мечты о России помогали поэту вынести ужас и пошлость «лживой жизни». Его Россия — это «лёгкий образ рая», утешение и надежда обездоленного человека. Вспоминая «всё, что мучило когда-то, забавляло иногда» — лесть, коварство, славу, золото, «человеческую тупость», всё, что составляет «круг постылый бытия», — поэт спрашивает: «Что ж, конец?..» —

Нет... ещё леса, поляны,
И проселки, и шоссе,
Наша русская дорога,
Наши русские туманы,
Наши шелесты в овсе...

И даже запечатлев с истинно реалистической беспоощадностью отвратительный образ ханжи и стяжателя, Блок, наперекор всему изображённому, мужественно утверждает: «Да. И такой, моя Россия, ты всех краев дороже мне». Что это — «квасной патриотизм», любовь к русскому самовару, к кондовой «Святой Руси», любованье иконками и лампадками? Нет, конечно! В эту «Святую Русь» Блок призывал «пальнуть пулей». Блок здесь ничего не любит и ничем не любит, а, напротив, ненавидит и разоблачает. Но даже с такой Россией он не может «разлучиться», даже *такая* Россия ему дороже «всех краев» — и не только по велению патриотического долга, но и потому, что за всяческой пошлостью и грязью «сквозит мир иной» — «Россия в мечтах».

Осознав Россию как будущее, Блок знал и верил, что его родине, его народу суждено сыграть великую, всемирно-историческую

роль. Но ни разу это знание и эта вера не соблазнили Блока прославление царской России, ее государственности и общественного уклада. В годы империалистической войны Блок,— почти единственный из тогдашних крупных поэтов,— не был отравлен шовинистическим угаром. Его лира не издала ни одного «неверного звука». не венчал лаврами царских генералов, но нашёл совершенно особые проникновенные слова о «ясной, твёрдой, верной стали» русского оружия, просто и задушевно сказал о «щемящей песне солдатско

Посылая в 1915 году матери сборник «Стихов о России», он на все основания с гордостью сказал при этом: «Всё — не заказно». И как характерно, что в те же годы эта небольшая, но такая прелездивая книжка «долго лежала у Горького на рабочем столе, и не раз открывал её в пылу беседы» (Вс. Рождественский, А. Горький, «Звезда», 1944, № 4, стр. 84).

В России, в русском народе Блок сумел увидеть и понять самое главное: накопление мощных революционных сил. Поэтому темы родины и революции нерасторжимы в творчестве Блока. Поэты во всех его стихах о России есть революционный накал, а «Двадцать» — это поэма о России.

Отчаянье не победило Блока. Ему был «нестерпим окружающий мрак», но Россия животворила его. С нею, писал он, «и невозможное возможно». В глухую ночь реакции он различал над Россией «широкий и тихий пожар», провидел её революционное будущее:

Но узнаю тебя, начало
Высоких и мятежных дней...

Он верил, что «страшный мир» капитализма будет разрушен, что на его обломках возникнет новый, светлый и справедливый мир, в котором человеку будет обеспечено свободное и гармоническое развитие всех его духовных и физических сил.

Я верю: новый век взойдёт
Средь всех несчастных поколений —

так говорил Блок, никогда не забывая об «униженном народе», темившемся «в голодной и больной неволе». И эта упрямая вера «новый век», и эта твёрдая убеждённость в том, что «народ —

еще земного цвета, краса и радость всем цветам», полностью определяли общественную позицию Блока в пору блистательного расцвета его дарования.

А когда действительно наступил новый век, Блок безоговорочно признал и приветствовал Великую Октябрьскую социалистическую революцию как начало новой эры в истории человечества. В гениальной поэме «Двенадцать» он прочитал отходную кондовой «Святой Руси» и запечатлел открывшийся ему в романтических пожарах и метелях образ новой, освобожденной России.

Особо нужно остановиться на символическом образе Христа, «с кровавым флагом» возглавляющего шествие красногвардейцев в поэме Блока. Важно отметить, что образ этот, вызвавший много недоумений и споров, не удовлетворял и самого Блока. «Мне тоже не нравится конец «Двенадцати», — сказал он однажды. — Я хотел бы, чтобы этот конец был иной. Когда я кончил, я сам удивился: почему же Христос? Неужели Христос? Но чем больше я вглядывался, тем явственнее я видел Христа. И я тогда же записал у себя: к сожалению, Христос, именно Христос» («Надо, чтобы шел Другой», — записал он в дневнике). Блок говорил «к сожалению», потому что понимал, насколько образ Христа противоречит всей идейной направленности его поэмы. Больше того: подчеркивая символическую условность этого образа, он брал имя Христа в кавычки: «...если взглянуть в столбы мятели на этом пути, то увидишь «Иисуса Христа». Но я иногда сам глубоко ненавижу этот женственный призрак». Во всяком случае Блок не имел в виду сколько-нибудь нейтрализовать образом Христа революционный смысл своей поэмы. Напротив, в сознании Блока Христос существовал вне религиозной легенды, не как канонический церковный образ, но как образ-символ, знаменовавший обновление жизни. Если сгруппировать высказывания Блока по данному вопросу, с очевидностью выясняется, какое содержание вкладывал он в образ Христа в «Двенадцати». Это — символ того нового мира, во имя которого герои поэмы творят историческое возмездие старому миру. Кроме того, Христос появился в «Двенадцати» вовсе не неожиданно. Это, так сказать, «вечный образ»

поэзии Блока, проходящий, между прочим, через многие его стихи о России и неизменный даже в деталях («Вот он, Христос, в цепи и розах...» — в стихотворении 1905 года; «В белом венчике из роз...» — в «Двенадцати»). Функция этого образа в патриотической лирике Блока также всегда была неизменна: он и раньше служил для него символом, знаменующим некое освободительное начало. Таков «сжигающий Христос», весть о котором доносится в глухой и тёмный мир.

В последнем крупном своем произведении, в «Скифах», Блок ещё раз обратился к теме исторических задач и судеб России, по-новому поставив старый для русской литературы вопрос о России и Западе, — вопрос, выдвигавшийся Пушкиным, Тютчевым, Достоевским, Вл. Соловьёвым и многими другими. В том, как этот вопрос поставлен Блоком, сказалось всё своеобразие его исторического сознания. Высокий гражданский пафос, установка на стиль и формы поэтического манифеста, сближает «Скифы» с русской политической одой XIX века, прежде всего с пушкинской: «Клавстникам России». И по существу оба произведения близки друг другу. Поднятая Пушкиным грандиозная тема исторической миссии и великого будущего России, в 1812 году искупившей кровью своих сынов «Европы вольность, честь и мир», в новых исторических условиях с новой силой прозвучала в революционно-патриотической оде Блока, направленной против западноевропейских империалистов, собиравших в 1918 году крестовый поход против русской пролетарской революции («Скифы» были написаны под непосредственным впечатлением известия об угрозе немецкого наступления на революционный Петроград). Как народный трибун, от лица всей нации, обратился Блок к старому миру с грозным словом предупреждения:

Милльоны — вас. Нас — тьмы, и тьмы, и тьмы.

Попробуйте, сразитесь с нами!..

Вот — срок настал. Крылами бьёт беда,

И каждый день обиды множит,

И день придёт — не будет и следа

От ваших Пестумов, быть может!

Стихи Блока о России, о русском народе, о русской революции — не только драгоценный памятник нашей национальной художественной культуры, которым мы любуемся. Они принадлежат к числу тех великих произведений искусства, которые активно воздействуют на сознание советского человека и с могучей силой пробуждают в нём ответный отклик.

«Бесстрашная искренность» и гуманизм Блока, его демократическое чувство, всегдашняя тревога за судьбы родины и вера в её будущее — всё это нашло глубокое и разностороннее выражение в стихах и поэмах крупнейшего русского поэта предреволюционной эпохи. Даже в тех произведениях Блока, которые наиболее тесно связаны с символистской поэтической культурой, сквозь образы-символы и метафорические стиховые формы перед читателем возникает реальный образ России, сперва окружённой «непроглядной тьмой» старого мира, а потом озарённой пожаром величайшей революции.

Нам близок и дорог гениальный и благородный поэт, «в огне и холоде тревог» живший одной жизнью со своей родиной и хранивший несокрушимую веру в её величие и непобедимость: «Всё будет хорошо, Россия будет великой».

Вл. Орлов

Стихотворения Блока, поэма «Двенадцать» и отрывки из поэмы «Возмездие» печатаются в окончательных редакциях и расположены в хронологическом порядке. Исключение сделано для стихотворения «На поле Куликовом» («Я живу в отдалённом скиту...») — по связи его с одноимённым циклом. Стихотворению «Май жестокий с белыми ночами...» присвоено заглавие, под которым оно имеется в рукописи Блока и под которым было напечатано им несколько раз. В третьем разделе сборника сосредоточены выдержки из статей, дневников, записных книжек и писем Блока, расположенные в хронологическом порядке. Три выдержки сделаны из неопубликованных документов (письма к В. В. Розанову и к Л. Д. Блок).

В. О.

ОСЕННЯЯ ВОЛЯ

Выхожу я в путь, открытый взорам,
Ветер гнёт упругие кусты,
Битый камень лёг по косогорам,
Жёлтой глины скудные пласты.

Разгулялась осень в мокрых долах,
Обнажила кладбища земли,
Но густых рябин в проезжих сёлах
Красный цвет зареет издали.

Вот оно, моё веселье, пляшет
И звенит, звенит, в кустах пропав!
И вдали, вдали призывно машет
Твой узорный, твой цветной рукав.

Кто взманил меня на путь знакомый,
Усмехнулся мне в окно тюрьмы?
Или — каменным путем влекомый
Нищий, распевающий псалмы?

Нет, иду я в путь никем не званный,
И земля да будет мне легка!
Буду слушать голос Руси пьяной,
Отдыхать под крышей кабака.

Запою ли про свою удачу,
Как я молодость сгубил в хмелю...
Над печалью нив твоих заплачу,
Твой простор навеки полюблю...

Много нас — свободных, юных, статных
Умирает, не любя...
Приюти ты в далях необъятных!
Как и жить и плакать без тебя!

Июль 1905

* * *

Не мани меня ты, воля,
 Не зови в поля!
Пировать нам вместе, что ли,
 Матушка-земля?
Кудри ветром растрепала
 Ты издалека,
Но меня благословляла
 Белая рука...
Я крестом касался персти,
 Целовал твой прах,
Нам не жить с тобою вместе
 В радостных полях!
Лишь на миг в воздушном мире
 Оглянусь, взгляну,
Как земля в зелёном пире
 Празднует весну,—
И пойду путём-дорогой,
 Тягостным путём —
Жить с моей душой убогой
 Нищим бедняком.

Июль 1905

Р У С Ь

Ты и во сне необычайна.
Твоей одежды не коснусь.
Дремлю — и за дремотой тайна,
И в тайне — ты почишь, Русь.

Русь, опоясана реками
И дебрями окружена,
С болотами и журавлями,
И с мутным взором колдуна,

Где разноликие народы
Из края в край, из дола в дол
Ведут ночные хороводы
Под заревом горящих сёл.

Где ведуны с ворожеями
Чаруют злаки на полях,
И ведьмы тешатся с чертями
В дорожных снеговых столбах.

Где буйно заметает вьюга
До крыши — утлое жильё,
И девушка на злого друга
Под снегом точит лезвёе.

Где все пути и все распутья
Живой клюкой измождены,
И вихрь, свистящий в голых прутьях,
Поёт преданья старины...

Так — я узнал в моей дремоте
Страны родимой нищету,
И в лоскутах её лохмотий
Души скрываю наготу.

Тропу печальную, ночную
Я до погоста протоптал,
И там, на кладбище ночуя,
Подолгу песни распевал.

И сам не понял, не измерил,
Кому я песни посвятил,
В какого бога страстно верил,
Какую девушку любил.

Живую душу укачала,
Русь, на своих просторах ты,
И вот, она не запятнала
Первоначальной чистоты.

Дремлю — и за дремотой тайна,
И в тайне почивает Русь,
Она и в снах необычайна.
Её одежды не коснусь.

24 сентября 1906¹

¹ «Мутный взор колдуна», чарование знаков, ведьмы и черти в снеговых столбах на дороге, девушка, точащая под снегом лезвие ножа на изменившего милого, — всё это подлинные образы наших поверий, заговоров и заклинаний. (Примечание Блока.)

ХОЛОДНЫЙ ДЕНЬ

Мы встретились с тобою в храме
И жили в радостном саду,
Но вот зловонными дворами
Пошли к проклятью и труду.

Мы миновали все ворота
И в каждом видели окне,
Как тяжело лежит работа
На каждой согнутой спине.

И вот пошли туда, где будем
Мы жить под низким потолком,
Где прокляли друг друга люди,
Убитые своим трудом.

Стараясь не запачкать платья,
Ты шла меж спящих на полу;
Но самый сон их был проклятье,
Вон там — в заплёванном углу...

Ты обернулась, заглянула
Доверчиво в мои глаза...
И на щеке моей блеснула,
Скатилась пьяная слеза.

Нет! Счастье — праздная забота,
Ведь молодость давно прошла.
Нам скоротает век работа,
Мне — молоток, тебе — игла.

Сиди да шей, смотри в окошко.
Людей повсюду гонит труд,
А те, кому трудней немножко,
Те песни длинные поют.

Я близ тебя работать стану,
Авось ты не припомнишь мне,
Что я увидел дно стакана,
Топя отчаянье в вине.

Сентябрь 1906

СЫН И МАТЬ

Моей матери

Сын осеняется крестом.
Сын покидает отчий дом.

В песнях матери оставленной
Золотая радость есть:
Только б он пришёл прославленный,
Только б радость перенести!

Вот, в доспехе ослепительном,
Слышно, ходит сын во мгле.
Дух свой предал небожителям,
Сердце — матери-земле.

Петухи поют к заутрене,
Ночь испуганно бежит.
Хриплый рог туманов утренних
За спиной её трубит.

Поднялись над луговинами
Кудри спутанные мхов,
Метят взорами совиными
В стаю лёгких облаков...

Вот он, сын мой, в светлом облаке,
В шлеме утренней зари!
Сыплет он стрелами колкими
В чернолесья, в пустыри!..

Веет ветер очистительный
От небесной синевы.
Сын бросает меч губительный,
Шлем снимает с головы.

Точит грудь его пронзённая
Кровь и горние хвалы:
Здравствуй, даль, освобождённая
От ночной туманной мглы!

В сердце матери оставленной
Золотая радость есть:
Вот он, сын мой, окровавленный!
Только б радость перенести!

Сын не забыл родную мать:
Сын воротился умирать.

4 октября 1906

* * *

Я ухо приложил к земле.
Я муки криком не нарушу.
Ты слишком хриплым стоном душу
Бессмертную томишь во мгле!
Эй, встань и загорись и жги!
Эй, подними свой верный молот,
Чтоб молнией живой расколот
Был мрак, где не видать ни зги!
Ты роешься, подземный крот!
Я слышу трудный, хрипый голос...
Не медли. Помни: слабый колос
Под их секирой упадёт...
Как зёрна, злую землю рой
И выходи на свет. И ведай:
За их случайною победой
Роятся сумрак гробовой.
Лелей, пой, таи ту новь,
Пройдёт весна — над этой новью,
Вспоённая твоею кровью
Созреет новая любовь.

3 июня 1907

* * *

Тропами тайными, ночными,
При свете траурной зари,
Придут замученные ими,
Над ними встанут упыри.
Овеют призраки ночные
Их помышленья и дела,
И загниют ещё живые
Их слишком сытые тела.
Их корабли в пучине водной
Не сыщут ржавых якорей,
И не успеть дочесть отходной
Тебе, пузатый иерей!
Довольных сытое обличье,
Сокрылся в тёмные гроба!
Так нам велит *времен величье*
И *розоперстая судьба!*
Гроба, наполненные гнилью,
Свободный, сбрось с могучих плеч!
Всё, всё — да станет лёгкой пылью
Под солнцем, не уставшим жечь!

3 июня 1907

О СМЕРТИ

Всё чаще я по городу брожу.
Всё чаще вижу смерть — и улыбаюсь
Улыбкой рассудительной. Ну, что же?
Так я хочу. Так свойственно мне знать,
Что и ко мне придёт она в свой час.

Я проходил вдоль скачек по шоссе.
День золотой дремал на горах щебня,
А за глухим забором — ипподром
Под солнцем зеленел. Там стебли злаков
И одуванчики, раздутые весной,
В ласкающих лучах дремали. А вдали
Трибуна придавила плоской крышей
Толпу зевак и модниц. Маленькие флаги
Пестрели там и здесь. А на заборе
Прохожие сидели и глазели.

Я шёл и слышал быстрый гон коней
По грунту лёгкому. И быстрый топот
Копыт. Потом — внезапный крик:
— Упал! Упал! — кричали на заборе,
И я, вскочив на маленький пенёк,
Увидел всё зараз: вдали летели
Жокеи в пёстром — к тонкому столбу.

Чуть-чуть отстав от них, скакала лошадь
Без седока, взметая стремяна.
А за листвою кудрявеньких берёзок,
Так близко от меня — лежал жокей,
Весь в жёлтом, в зеленях весенних злаков,
Упавший навзничь, обратив лицо
В глубокое ласкающее небо.
Как будто, век лежал, раскинув руки
И ногу подогнув. Так хорошо лежал.
К нему уже бежали люди. Издалу́,
Поблёскивая медленными спицами, ландо
Катилось мягко. Люди подбежали
И подняли его...

И вот повисла
Беспомощная жёлтая нога
В обтянутой рейтузе. Завалилась
Им на плечи куда-то голова...
Ландо подъехало. К его подушкам
Так бережно и нежно приложили
Цыплячью желтизну жокея. Человек
Вскочил неловко на подножку, замер,
Поддерживая голову и ногу,
И важный кучер повернул назад.
И так же медленно вертелись спицы,
Поблёскивали козла, оси, крылья...

Так хорошо и вольно умереть.
Всю жизнь скакал — с одной упорной мыслью,
Чтоб первым доскакать. И на скаку
Запнулась запыхавшаяся лошадь,
Уж силой ног не удержать седла,
И утлые взмахнулись стремяна,
И полетел, отброшенный толчком...
Ударился затылком о родную,

Весеннюю, приветливую землю,
И в этот миг — в мозгу прошли все мысли
Единственные нужные. Прошли —
И умерли. И умерли глаза.
И труп мечтательно глядит наверх.

Так хорошо и вольно.

Однажды брёл по набережной я.
Рабочие возили с барок в тачках
Дрова, кирпич и уголь. И река
Была ещё синей от белой пены.
В отстёгнутые ворота рубах
Глядели загорелые тела,
И светлые глаза привольной Руси
Блестели строго с почерневших лиц.
И тут же дети голыми ногами
Месили груды жёлтого песку,
Таскали — то кирпичик, то полено,
То брёвнышко. И прятались. А там
Уже сверкали грязные их пятки,
И матери — с отвислыми грудями
Под грязным платьем — ждали их, ругались
И, надавав затрещин, отбирали
Дрова, кирпичики, бревёшки. И тащили,
Согнувшись под тяжёлой ношей, вдаль.
И снова, воротясь, гурьбой весёлой,
Ребятки начинали воровать:
Тот — брёвнышко, другой — кирпичик...

И вдруг раздался всплеск воды и крик:
— Упал! Упал! — опять кричали с барки.
Рабочий, ручку тачки отпустив,
Показывал рукой куда-то в воду,
И пёстрая толпа рубах неслась

Туда, где на траве, в камнях булыжных,
На самом берегу — лежала сотка.
Один тащил багор.

А между свай,
Забитых возле набережной в воду,
Легко покачивался человек
В рубаше и в разорванных портках.
Один схватил его. Другой помог,
И длинное растянутое тело,
С которого ручьём лилась вода,
Втащили на берег и положили.
Городовой, гремя о камни шашкой,
Зачем-то щёку приложил к груди
Намокшей, и прилежно слушал,
Должно быть, сердце. Собрался народ,
И каждый вновь пришедший задавал
Одни и те же глупые вопросы:
Когда упал, да сколько пролежал
В воде, да сколько выпил?
Потом все стали тихо отходить,
И я пошёл своим путём, и слушал,
Как истовый, но выпивший, рабочий
Авторитетно говорил другим,
Что губит каждый день людей вино.

Пойду ещё бродить. Покуда солнце,
Покуда жар, покуда голова
Тупа, и мысли вялы...

Сердце!

Ты будь вожатаем моим. И смерть
С улыбкой наблюдай. Само устанешь,
Не вынесешь такой весёлой жизни,
Какую я веду. Такой любви
И ненависти люди не выносят,
Какую я в себе ношу.

Хочу,
Всегда хочу смотреть в глаза людские,
И пить вино, и женщин целовать,
И яростью желаний полнить вечер,
Когда жара мешает днём мечтать
И песни петь! И слушать в мире ветер!

Июнь — июль 1907

* * *

В густой траве пропадёшь с головой.
В тихий дом войдёшь, не стучась...
Обнимет рукой, оплетёт косой
И, статная, скажет: — Здравствуй, князь.

- Вот здесь у меня — куст белых роз.
- Вот здесь вчера — повилика вилась.
- Где был, пропадал? Что за весть принёс?
- Кто любит, не любит, кто гонит нас?

Как бывало, забудешь, что дни идут,
Как бывало, простишь, кто горд и зол.
И смотришь — тучи вдали встают,
И слушаешь песни далёких сёл...

Заплачет сердце по чужой стороне,
Запросится в бой — зовёт и манит...
Только скажет: — Прощай. Вернись ко мне.
И опять за травой колокольчик звенит...

12 июля 1907

РОДИНЕ

Май жестокий с белыми ночами!
Вечный стук в ворота: выходи!
Голубая дымка за плечами,
Неизвестность, гибель впереди!
Женщины с безумными очами,
С вечно смятой розой на груди!—
Пробудись! Пронзи меня мечами,
От страстей моих освободи!

Хорошо в лугу широким кругом
В хороводе пламенном пройти,
Пить вино, смеяться с милым другом
И венки узорные плести,
Раздарить цветы чужим подругам,
Страстью, грустью, счастьем изойти,—
Но достойней за тяжёлым плугом
В свежих росах поутру итти!

28 мая 1908¹

¹ В черновике имеются наброски продолжения:
И над этим плугом — все мечтанья,
И под этим плугом — вся земля,
И душа — как в первый миг свиданья,
И душа, как парус корабля.
И в руке — тяжёлые дрожанья,
(И над варытым паром тишина,
И Твои, Твои очарованья,
Медленно сходящая Весна,)
И далёкий лепет, бормотанье,
Конницы тяжёлой знамена,
И трубы военной завыванье...

НА ПОЛЕ КУЛИКОВОМ

1

Река раскинулась. Течёт, грустит лениво
И моет берега.

Над скудной глиной жёлтого обрыва
В степи грустят стога.

О, Русь моя! Жена моя! До боли
Нам ясен долгий путь!

Наш путь — стрелой татарской древней воли
Пронзил нам грудь.

Наш путь — степной, наш путь — в тоске
безбрежной,

В твоей тоске, о Русь!
И даже мглы — ночной и зарубежной —
Я не боюсь.

Пусть ночь. Домчимся. Озарим кострами
Степную даль.

В степном дыму блеснёт святое знамя
И ханской сабли сталь...

И вечный бой! Покой нам только снится

Сквозь кровь и пыль...
Летит, летит степная кобылица
И мнёт ковыль...

И нет конца! Мелькают вёрсты, кручи...
Останови!
Идут, идут испуганные тучи,
Закат в крови!

Закат в крови! Из сердца кровь струится!
Плачь, сердце, плачь...
Покоя нет! Степная кобылица
Несётся вскачь!

7 июня 1908

2

Мы, сам-друг, над степью в полночь стали
Не вернуться, не взглянуть назад.
За Непрядвой лебеди кричали,
И опять, опять они кричат...

На пути — горячий белый камень.
За рекой — поганая орда.
Светлый стяг над нашими полками
Не разыграет больше никогда.

И, к земле склонившись головою,
Говорит мне друг: — Остри свой меч,
Чтоб не даром биться с татарвою,
— За святое дело мёртвым лечь!

Я — не первый воин, не последний,
Долго будет родина больна.

Помяни ж за раннею обедней
Мила друга, светлая жена!

8 июня 1908

3

В ночь, когда Мамай залёг с ордою
 Степи и мосты,
В тёмном поле были мы с Тобою.—
 Разве знала Ты?

Перед Доном, тёмным и зловещим,
 Средь ночных полей,
Слышал я Твой голос сердцем вещим
 В криках лебедей.

С полуночи тучей возносилась
 Княжеская рать,
И вдали, вдали о стремя билась,
 Голосила мать.

И, чертя круги, ночные птицы
 Реяли вдали.
А над Русью тихие зарницы
 Князя стерегли.

Орлий клёкот над татарским станом
 Угрожал бедой,
А Непрядва убралась туманом,
 Что княжна фатой.

И с туманом над Непрядвой, спящей,
 Прямо на меня
Ты сошла, в одежде, свет струящей,
 Не спугнув коня.

Серебром волны блеснула другу
На стальном мече,
Освежила пыльную кольчугу.
На моём плече.

И когда наутро, тучей чёрной,
Двинулась орда,
Был в щите Твой лик нерукотворный
Светел навсегда.

14 июня 1908

4

Опять с вековой тоскою
Пригнулись к земле ковыли.
Опять за туманной рекою
Ты кличешь меня издали...

Умчались, пропали без вести
Степных кобылиц табуны,
Развязаны дикие страсти
Под игом ущербной луны.

И я с вековой тоскою,
Как волк под ущербной луной,
Не знаю, что делать с собою,
Куда мне лететь за тобой!

Я слушаю рокоты сечи
И трубные крики татар,
Я вижу над Русью далече
Широкий и тихий пожар.

Объятый тоскою могучей,
Я рыщу на белом коне...

Встречаются вольные тучи
Во мгlistой ночной вышине.

Вдвываются светлые мысли
В растерзанном сердце-моём,
И падают светлые мысли,
Сожжённые тёмным огнём...

— Явись, моё дивное диво!
— Быть светлым меня научи!
Вдвывается конская грива...
За ветром зывают мечи...

31 июля 1908

5

*И милою бед неотразимых
Грядущий день заволокло.*

Вл. Соловьёв

Опять над полем Куликовым
Взошла и расточилась мгла,
И, словно облаком суровым,
Грядущий день заволокла.

За тишиною непробудной,
За разливающейся мглой
Не слышно грома битвы чудной,
Не видно молнии боевой.

Но узнаю тебя, начало
Высоких и мятежных дней!
Над вражьим станом, как бывало,
И плеск, и трубы лебедей.

Не может сердце жить покоем,
Недаром тучи собрались.
Доспех тяжёл, как перед боем,
Теперь твой час настал.— Молись!

23 декабря 1908

НА ПОЛЕ КУЛИКОВОМ
АРИЯ ДЯЯ КАИТАТЫ Ю. ШАПОРИНА

(Невеста ждёт жениха)

Я живу в отдалённом скиту
В дни, когда опадают листья.
Выхожу и стою на мосту,
И смотрю на речные цветы.

И смотрю за туманы и гарь,
Как из той из туманной дали
Чередой потянулись, как встарь,
Гуси, лебеди да журавли...

Дайте вольные крылья свои,
Гуси, лебеди да журавли...
Ах, когда на призывы мои
Он вернётся из дальней дали?

Боже, в чёрные ночи и дни
Ты храни жениха моего,
Упаси ты от вражьей стрелы,
Сохрани ты от сабли его...

3 ноября 1919

РОССИЯ

Опять, как в годы золотые,
Три стёртых треплются шлеи,
И вязнут спицы росписные
В расхлябанные колени...

Россия, нищая Россия,
Мне избы серые твои,
Твои мне песни ветровые,—
Как слёзы первые любви!

Тебя жалеть я не умею,
И крест свой бережно несу...
Какому хочешь чародею
Отдай разбойную красу!

Пускай заманит и обманет,—
Не пропадёшь, не сгинешь ты
И лишь забота затуманит
Твои прекрасные черты...

Ну, что ж? Одной заботой боле —
Одной слезой река шумней,
А ты всё та же — лес, да поле,
Да плат узорный до бровей...

И невозможное возможно,
Дорога долгая легка,
Когда блеснёт в дали дорожной
Мгновенный взор из-под платка,
Когда звенит тоской осторожной
Глухая песня ямщика!..

18 октября 1908 .

ОСЕННИЙ ДЕНЬ

Идём по жнивью, не спеша,
С тобою, друг мой скромный,
И изливается душа,
Как в сельской церкви тёмной.

Осенний день высок и тих,
Лишь слышно — ворон глухо
Зовёт товарищей своих,
Да кашляет старуха.

Овин расстелет низкий дым,
И долго под овином
Мы взором пристальным следим
За летом журавлиным...

Летят, летят косым углом,
Вожак звенит и плачет...
О чём звенит, о чём, о чём?
Что плач осенний значит?

И низких нищих деревень
Не счесть, не смерить оком,
И светит в потемневший день
Костёр в лугу далёком...

О, нищая моя страна,
Что ты для сердца значишь?
О, бедная моя жена,
О чём ты горько плачешь?

1 января 1909

* * *

Под шум и звон однообразный,
Под городскую суету
Я уйду, душою праздный,
В метель, во мрак и в пустоту.

Я обрываю нить сознанья
И забываю, что и как...
Кругом — снега, трамваи, зданья.
А впереди — огни и мрак.

Что, если я, замороженный,
Сознанья оборвавший нить,
Вернусь домой уничтоженный, —
Ты можешь ли меня простить?

Ты, знающая дальней цели
Путеводительный маяк,
Простишь ли мне мои метели,
Мой бред, поэзию и мрак?

Иль можешь лучше: не прощая,
Будить мои колокола,
Чтобы распутица ночная
От родины не увела?

2 февраля 1909

* * *

Так. Буря этих лет прошла.
Мужик поплёлся бороздою
Сырой и чёрной. Надо мною
Опять звенят весны крыла...

И страшно, и легко, и больно;
Опять весна мне шепчет: *встань...*
И я целую богомольно
Её невидимую ткань...

И сердце бьётся слишком скоро,
И слишком молодеет кровь,
Когда за тучкой легкопёрой
Сквозит мне первая любовь...

*Забудь, забудь о страшном мире,
Взмахни крылом, лети туда...*
Нет, не один я был на пире!
Нет, не забуду никогда!

14 февраля 1909—
6/7 февраля 1914

* * *

В голодной и больной неволе
И день не в день, и год не в год.
Когда же всколосится поле,
Вздохнёт униженный народ?

Что лето, шелестят во мраке,
То выпрямляясь, то клонясь
Всю ночь, под тайным ветром, злаки:
Пора цветенья началась.

Народ — венец земного цвета,
Краса и радость всем цветам:
Не миновать господня лета
Благоприятного — и нам.

15 февраля 1909

* * *

Русь моя, жизнь моя, вместе ль нам маяться?
Царь, да Сибирь, да Ермак, да тюрьма!
Эх, не пора ль разлучиться, раскаяться...
Вольному сердцу на что твоя тьма?

Знала ли что? Или в бога ты верила?
Что там услышишь из песен твоих?
Чудь начудила, да Меря намерила
Гатей, дорог, да столбов верстовых...

Лодки, да грады по рекам рубила ты,
Но до Царьградских святынь не дошла...
Соколов, лебедей в степь распустила ты
Кинулась из степи чёрная мгла...

За море Чёрное, за море Белое,
В чёрные ночи и в белые дни
Дико глядится лицо онемелое,
Очи татарские мечут огни...

Тихое, долгое, красное зарево
Каждую ночь над становьем твоим...
Что же маячишь ты, сонное марево?
Вольным играешься духом моим?

28 февраля 1910

НА ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГЕ

Марии Павловне Иваковой

Под насыпью, во рву некошеном,
Лежит и смотрит, как живая,
В цветном платке, на косы брошенном,
Красивая и молодая.

Бывало, шла походкой чинною
На шум и свист за ближним лесом.
Всю обойдя платформу длинную,
Ждала, волнуясь, под навесом.

Три ярких глаза набегающих —
Нежней румянец, круче локон:
Быть может, кто из проезжающих
Посмотрит пристальней из окон...

Вагоны шли привычной линией,
Подрагивали и скрипели;
Молчали жёлтые и синие;
В зелёных плакали и пели.

Вставляли сонные за стёклами
И обводили ровным взглядом

Платформу, сад с кустами блёклыми,
Её, жандарма с нею рядом...

Лишь раз гусар, рукой небрежною
Облокотясь на бархат алый,
Скользнул по ней улыбкой нежною...
Скользнул — и поезд в даль умчалю.

Так мчалась юность бесполезная,
В пустых мечтах изнемогая...
Тоска дорожная, железная
Свистела, сердце разрывая...

Да что — давно уж сердце вынуто!
Так много отдано поклонов,
Так много жадных взоров кинута
В пустынные глаза вагонов...

Не подходите к ней с вопросами,
Вам всё равно, а ей — довольно:
Любовью, грязью иль колёсами
Она раздавлена — всё больно.

14 июня 1910

ПОСЕЩЕНИЕ

Голос

То не ели, не тонкие ели
На закате поднимают кресты,
То в далѣ снеговой заалели
Мои нежные, милый, персты.
Унесѣнная белой метелью
В глубину, в бездыханность мою,
Вот я вновь над твоею постелью
Наклонилась, дышу, узнаю...
Я сквозь ночи, сквозь долгие ночи,
Я сквозь тѣмные ночи — в венце.
Вот они — ещё синие очи
На моём постаревшем лице!
В твоём голосе — возгласы моря,
На лице твоём — жала огня,
Но читаю в испуганном взоре,
Что ты помнишь и любишь меня.

Второй голос

Старый дом мой пронизан метелью,
И остыл одинокий очаг.
Я привык, чтоб над этой постелью

Наклонялся лишь пристальный враг.
И душа для видений ослепла,
Если вспомню,— лишь ветер налетит,
Лишь рубин раскалённый из пепла
Мой обугленный лик опалит!
Я не смею взглянуть в твои очи,
Всё, что было,— далёко оно.
Долгих лет нескончаемой ночи
Страшной памятью сердце полно.

Сентябрь 1910

ВОЗМЕЗДИЕ

(ВСТУПЛЕНИЕ КО II ГЛАВЕ ПОЭМЫ)

I

В те годы дальние, глухие,
В сердцах царили сон и мгла:
Победоносцев над Россией
Простёр совиные крыла,
И не было ни дня, ни ночи,
А только — тень огромных крыл.
Он дивным кругом очертил
Россию, заглянув ей в очи
Стеклянным взором колдуна;
Под умный говор сказки чудной
Уснуть красавице нетрудно,—
И затуманилась она,
Заспав надежды, думы, страсти...
Но и под игом тёмных чар
Ланиты красил ей загар:
И у волшебника во власти
Она казалась полной сил,
Которые рукой железной
Зажаты в узел бесполезный...
Колдун одной рукой кадил,

И струйкой синей и кудрявой
Курился росный ладан... Но —
Он клал другой рукой костлявой
Живые души под сукно.

II

В те незапамятные годы
Был Петербург ещё грозней,
Хоть не тяжеле, не серей
Под крепостью катила воды
Необозримая Нева...
Штык светил, плакали куранты,
И те же барыни и франты
Летели здесь на острова,
И так же конь чуть слышным смехом,
Коню навстречу отвечал,
И чёрный ус, мешаясь с мехом,
Глаза и губы щекотал...
Я помню, так и я, бывало,
Летал с тобой, забыв весь свет,
Но... право проку в этом нет,
Мой друг, и счастья в этом мало...

III

Востока страшная заря
В те годы чуть ещё алела...
Чернь петербургская глазела
Подобострастно на царя...
Народ толпился в самом деле,
В медалях кучер у дверей
Тяжёлых горячил коней,
Городовые на панели
Сгоняли публику... «Ура» —

Заводит кто-то голосистый,
И царь — огромный, водянистый,
С семейством едет со двора...
Весна... Но солнце светит глупо,
До Пасхи — целых семь недель,
А с крыш холодная капель
Уже за воротник мой тупо
Сползает, спину холодя...
Куда не повернись, всё ветер...
«Как тошно жить на белом свете»,
Бормочешь, лужу обходя;
Собака под ноги суётся,
Калоши сыщика блестят,
Вонь кислая с дворов несётся,
И «князь» орёт: «Халат, халат!»
И встретившись лицом с прохожим,
Ему бы в рожу наплевал,
Когда б желания того же
В его глазах не прочитал...

IV

Но перед майскими ночами
Весь город погружался в сон,
И расширялся небосклон.
Огромный месяц за плечами
Таинственно румянил лик
Перед зарёй необозримой...
О, город мой неуловимый,
Зачем над бездной ты возник...
Ты помнишь: выйдя ночью белой
Туда, где в море сфинкс глядит,
И на обтёсанный гранит
Склонясь головой отяжелелой,
Ты слышать мог: вдали, вдали,

Как будто с моря, звук тревожный,
Для божьей тверди невозможный
И необычный для земли...
Провидел ты всю даль, как ангел
На шпигеле крепостном; и вот —
(Сон или явь): чудесный флот,
Широко развернувший фланги,
Внезапно заградил Неву...
И Сам Державный Основатель
Стоит на головном фрегате...
Так снилось многим наяву...
Какие ж сны тебе, Россия,
Какие бури суждены?
Но в эти времена глухие
Не всем, конечно, снились сны...
Да и народу не бывало
На площади в сей дивный миг.
(Один любовник запоздалый
Спешил, поднявши ворожник)...
Но в алых струйках за кормами
Уже грядущий день сиял,
И дремлющими вымпелами
Уж ветер утренний играл,
Раскинулась необозримо
Уже кровавая заря,
Грозя Артуром и Цусимой,
Грозя девятым января...

Март 1911

* * *

<ИЗ I ГЛАВЫ ПОЭМЫ «ВОЗМЕЗДИЕ»>

Теперь — за мной, читатель мой,
В столицу севера большую,
На отдалённый финский брег!

Ужь осень семьдесят восьмую
Дотягивает старый век.
В Европе спорится работа,
А здесь — попрежнему в болото
Глядит унылая заря...
Но в половине сентября
В тот год, смотри, как солнца много!
Куда народ валит с утра?
И до заставы всю дорогу
Горохом сыплется ура,
И Забалканский, и Сенная
Кишат полицией, толпой,
Крик, давка, ругань площадная...
За самой городской чертой,
Где светится золотоголовый
Новодевичий монастырь,
Заборы, бойни и пустырь
Перед Московскою заставой,—

Стена народу, тьма карет,
Пролётки, дрожки и коляски,
Султаны, кивера и каски,
Царица, двор и высший свет!
И пред растроганной царицей
В осенней солнечной пыли
Войска проходят вереницей
От рубежей чужой земли...
Идут, как будто бы с парада.
Иль не оставили следа
Недавний лагерь у Царьграда,
Чужой язык и города?
За ними — снежные Балканы,
Три Плевны, Шипка и Дубняк,
Незаживающие раны,
И хитрый, и неслабый враг...
Вон — павловцы, вон — гренадеры
По пыльной мостовой идут;
Их лица строги, груди серы,
Блестит Георгий там и тут,
Разрежены их батальоны,
Но уцелевшие в бою
Теперь под рваные знамёна
Склонили голову свою...
Конец тяжёлого похода,
Незабываемые дни!
Пришли на родину они,
Они — среди своего народа!
Чем встретит их родной народ?
Сегодня — прошлому забвенью,
Сегодня — тяжкие виденья
Войны — пусть ветер разнесёт!
И в час торжественный возврата
Они забыли обо всём:
Забыли жизнь и смерть солдата

Под неприятельским огнём,
Ночей, для многих — без рассвета,
Холодную, немую твердь,
Подстерегающую где-то —
И настигающую смерть,
Болезнь, усталость, боль и голод,
Свист пуль, тоскливый вой ядра,
Зальдевших ложементов холод,
Негреющий огонь костра,
И даже — бремя вечной розни
Среди штабных и строевых,
И (может, горше всех других)
Забыли интендантов козни...
Иль не забыли, может быть? —
Их с хлебом-солью ждут подносы,
Им речи будут говорить,
На них — цветы и папиросы
Летят из окон всех домов...
Да, дело трудное их — свято!
Смотри: у каждого солдата
На штык надет букет цветов!
У батальонных командиров —
Цветы на сёдлах, чепраках,
В петлицах выцветших мундиров,
На конских чёлках и в руках...

Идут, идут... Едва к закату
Придут в казармы: кто — сменить
На ранах корпию и вату,
Кто — на вечер лететь, пленять
Красавиц, щеголять крестами,
Слова небрежные ронять,
Лениво шевеля усами
Перед униженным «штрюком»,
Играя новым темляком

На алой ленточке, — как дети...
Иль, в самом деле, люди эти
Так интересны и умны?
За что они вознесены
Так высоко, за что в них вера?

В глазах любого офицера
Стоят видения войны.
На их, обычных прежде, лицах
Горят заёмные огни.
Чужая жизнь свои страницы
Перевернула им. Они
Все крещены огнём и делом;
Их речи об одном твердят:
Как Белый Генерал¹ на белом
Коне, средь вражеских гранат,
Стоял, как призрак невредимый,
Шутя спокойно над огнём;
Как красный столб огня и дыма
Взвился над Горным Дубняком;
О том, как полковое знамя
Из рук убитый не пускал;
Как пушку горными тропами
Тащить полковник помогал;
Как царский конь, храпя, запнулся
Пред искалеченным штыком,
Царь посмотрел и отвернулся,
И заслонил глаза платком...
Да, им известны боль и голод
С простым солдатом наравне...

*Осень 1911 —
март 1912*

¹ Белый
Ред.

Генерал — прозвище генерала М. Д. Скобеле-

* * *

Да. Так диктует вдохновенье:
Моя свободная мечта
Всё льнет туда, где униженье,
Где грязь, и мрак, и нищета.
Туда, туда, смиренней, ниже, —
Оттуда зримей мир иной...
*Ты видел ли детей в Париже,
Иль нищих на мосту зимой?*
На непроглядный ужас жизни
Открой скорей, открой глаза,
Пока великая гроза
Всё не смела в твоей отчизне, —
Дай гневу правому созреть,
Приготовляй к работе руки...
Не можешь — дай тоске и скуке
В тебе копиться и гореть...
Но только — лживой жизни этой
Румяна жирные сотри
И, как пугливый крот, от света
Заройся в землю — там замри,
Всю жизнь жестоко ненавидя
И презирая этот свет,
Пускай грядущего не видя, —
Дням настоящим молви: *нет!*

Осень 1911 —
7 февраля 1914

СНЫ

И пора уснуть, да жалко,
Не хочу уснуть!
Конь качается, качалка,
На коня б скакнуть!

Луч лампадки, как в тумане,
Раз-два, раз-два, раз!...
Идёт конница... а няня
Тянет свой рассказ...

Внемлю сказке древней, древней
О богатырях,
О заморской, о царевне,
О царевне... ах...

Раз-два, раз-два! Конник в латах
Трогает коня
И манит и мчит куда-то
За собой меня...

За моря, за океаны
Он манит и мчит,
В дымно-сизые туманы,
Где царица спит...

Спит в хрустальной, спит в кроватке
Долгих сто ночей,
И зелёный свет лампадки
Светит в очи ей...

Под парчами, под лучами
Слышно ей сквозь сны,
Как звенят и бьют мечами
О хрусталь стены...

С кем там бьётся конник гневный,
Бьётся семь ночей?
На седьмую — над царевной
Светлый круг лучей...

И сквозь дрёмные покровы
Стелятся лучи,
О тюремные засовы
Звякают ключи...

Сладко дремлется в кроватке.
Дремлешь?— Внемлю... сплю.
Луч зелёный, луч лампадки,
Я тебя люблю!

Октябрь 1912

НОВАЯ АМЕРИКА

Праздник радостный, праздник великий
Да звезда из-за туч не видна...
Ты стоишь под метелицей дикой,
Роковая, родная страна.

За снегами, лесами, степями
Твоего мне не видно лица.
Только ль страшный простор пред очами,
Непонятная ширь без конца?

Утопая в глубоком сугробе,
Я на утлые сáни сажусь.
Не в богатом покоишься гробе
Ты, убогая финская Русь!

Там прикинешься ты богомольной,
Там старушкой прикинешься ты,
Глас молитвенный, звон колокольный,
За крестами — кресты, да кресты...

Только ладан твой синий и росный
Просквозит мне порою иным...
Нет, не старческий лик и не постный
Под московским платочком цветным!

Сквозь земные поклоны да свечи,
Ектеньи, ектеньи, ектеньи —
Шопотливые, тихие речи,
Запылавшие щёки твои...

Дальше, дальше... И ветер рванулся,
Чернозёмным летя пустырём...
Куст дорожный по ветру метнулся,
Словно дьякон взмахнул орарём...

А уж там, за рекой полноводной,
Где пригнулись к земле ковыли,
Тянет гарью горючей, свободной,
Слышны гуды в далёкой дали...

Иль опять это — стан половецкий
И татарская буйная крепь?
Не пожаром ли фески турецкой
Забуянила дикая степь?

Нет, не видно там княжьего стяга,
Не шеломами черпают Дон,
И прекрасная внучка варяга
Не клянёт половецкий полон...

Нет, не вьются там по ветру чубы,
Не пестреют в степях бунчуки...
Там чернеют фабричные трубы,
Там заводские стонут гудки.

Путь степной — без конца, без исхода,
Степь, да ветер, да ветер, — и вдруг,
Многорусный корпус завода,
Города из рабочих лачуг...

На пустынном просторе, на диком
Ты всё та, что была, и не та,
Новым ты обернулась мне ликом,
И другая волнует мечта...

Чёрный уголь — подземный мессия,
Чёрный уголь — здесь царь и жених,
Но не страшен, невеста, Россия,
Голос каменных песен твоих!

Уголь стонет, и соль забелелась,
И железная воеет руда
То над степью пустой загорелась
Мне Америки новой звезда!

ПОСЛЕДНЕЕ НАПУТСТВИЕ

Боль проходит понемногу,
Не на век она дана.
Есть конец мятежным стонам.
Злую муку и тревогу
Побеждает тишина.

Ты смежил больные вежды,
Ты не ждёшь — она вошла.
Вот она — с хрустальным звоном
Преисполнила надежды,
Светлым кругом обвела.

Слышишь ты сквозь боль мучений,
Точно друг твой, старый друг,
Тронул сердце нежной скрипкой?
Точно лёгких сновидений
Быстрый рой домчался вдруг?

Это — лёгкий образ рая,
Это — милая твоя.
Ляг на смертный одр с улыбкой,
Тихо грезить, замыкая
Круг постылый бытия.

Протянуться без желаний,
Улыбнуться навсегда.

Чтоб в последний раз проплыли
Мимо, сонно, как в тумане,
Люди, зданья, города...

Чтобы звуки, чуть тревожа
Лёгкой музыкой земли,
Прозвучали, потюмили
Над последним миром ложа
И в иное увлекли...

Лечь, коварство, слава, злато —
Мимо, мимо, навсегда...
Человеческая тупость —
Всё, что мучило когда-то,
Забавляло иногда...

И опять — коварство, слава,
Злато, лесть, всему венец —
Человеческая глупость,
Безысходна, величава,
Бесконечна... Что ж, конец?

Нет... ещё леса, поляны,
И просёлки и шоссе,
Наша русская дорога,
Наши русские туманы,
Наши шелесты в овсе...

А когда пройдёт всё мимо,
Чем тревожила земля,
Та, кого любил ты много,
Поведёт рукой любимой
В Елисейские поля.

14 мая 1914

* * *

Грешить бесстыдно, непробудно,
Счёт потерять ночам и дням,
И, с головой от хмеля трудной,
Пройти сторонкой в божий храм.

Три раза преклониться долу,
Семь — осенить себя крестом,
Тайком к заплёванному полу
Горячим прикоснуться лбом.

Кладя в тарелку грошик медный,
Три, да ещё семь раз подряд
Поцеловать столетний, бедный
И зацелованный оклад.

А воротясь домой, обмерить
На тот же грош кого-нибудь,
И пса голодного от двери,
Икнув, ногою отпихнуть.

И под лампадой у иконы
Пить чай, отщёлкивая счёт,
Потом переслюнить купоны,
Пузатый отворив комод,

И на перины пуховые
В тяжёлом завалиться сне...—
Да, и такой, моя Россия,
Ты всех краев дороже мне.

25 августа 1914

* * *

Задебренные лесом кручи:
Когда-то там, на высоте,
Рубили деды сруб горячий
И пели о своём Христе.

Теперь пастуший кнут не свистнет,
И песни не споёт свирель.
Лишь мох сырой с обрыва виснет,
Как ведьмы сбитая кудель.

Навеки непробудной тенью
Ресницы мхов опушены,
Спят убаюканные ленью
Людской врагини — тишины.

И человек печальной цапли
С болотной кочки не спугнёт,
Но в каждой тихой, ржавой капле —
Зачало рек, озёр, болот.

И капли ржавые, лесные,
Родясь в глуши и темноте,
Несут испуганной России
Весть о сжигающем Христе.

29 августа 1914

* * *

Моей матери

Ветер стих, и слава заревая
Облекла вон те пруды.
Вон и схимник. Книгу закрывая,
Он смиренно ждёт звезды.

Но бежит шоссейная дорога,
Убегает вбок...
Дай вздохнуть, помедли, ради бога,
Не хрусти, песок!

Славой золотеет заревою
Монастырский крест издалека.
Не свернуть ли к вечному покою?
Да и что за жизнь без клобука?...

И опять влечёт неудержимо
Вдаль из тихих мест
Путь шоссейный, пробегая мимо,
Мимо инока, прудов и звезд...

Август 1914

* * *

Петроградское небо мутилось дождём,
На войну уходил эшелон.
Без конца — взвод за взводом и штык за штыком
Наполнял за вагоном вагон.

В этом поезде тысячью жизнью цвели
Боль разлуки, тревоги любви,
Сила, юность, надежда... В закатной дали
Были дымные тучи в крови.

И, садясь, запевали *Варяга* одни,
А другие — не в лад — *Ермака*,
И кричали *ура*, и шутили они,
И тихонько крестилась рука.

Вдруг под ветром взлетел опадающий лист,
Раскачнувшись, фонарь замигал,
И под чёрною тучей веселый горнист
Заиграл к отправленью сигнал.

И военной славой заплакал рожок,
Наполняя тревогой сердца.
Громыханье колёс и охрипший свисток
Заглушило *ура* без конца.

Уж последние скрылись во мгле буфера,
И сошла тишина до утра,
А с дождливых полей всё неслось к нам ура,
В грозном клике звучало: *пора!*

Нет, нам не было грустно, нам не было жаль,
Несмотря на дождливую даль.
Это — ясная, твёрдая, верная сталь,
И нужна ли ей наша печаль?

Эта жалость — её заглушает пожар,
Гром орудий и топот коней.
Грусть — её застилает отравленный пар
С Галицийских кровавых полей...

1 сентября 1914

* * *

Рождённые в года глухие
Пути не помнят своего.
Мы — дети страшных лет России—
Забуть не в силах ничего.

Испепеляющие годы!
Безумья ль в вас, надежды ль весть
От дней войны, от дней свободы—
Кровавый отсвет в лицах есть.

Есть немота — то гул набата
Заставил заградить уста.
В сердцах, восторженных когда-то,
Есть роковая пустота.

И пусть над нашим смертным ложем
Взовьётся с криком вороньё,—
Те, кто достойней, боже, боже,
Да узрят царствие твоё!

8 сентября 1914

* * *

Я не предал белое знамя,
Оглушённый криком врагов,
Ты прошла ночными путями,
Мы с тобой — одни у валов.

Да, ночные пути, роковые,
Развели нас и вновь свели,
И опять мы к тебе, Россия,
Добрели из чужой земли.

Крест и насыпь могилы братской,
Вот где ты теперь, тишина!
Лишь щемящей песни солдатской
Издали несётся волна.

А вблизи — всё пусто и немо,
В смертном сне — враги и друзья.
И горит звезда Вифлеема
Так светло, как любовь моя.

3 декабря 1914

КОРШУН

Чертя за кругом плавный круг,
Над сонным лугом коршун кружит
И смотрит на пустынный луг.—
В избушке мать над сыном тужит:
«На хлеба, на, на грудь, соси,
Расти, покорствуй, крест неси».

Идут века, шумит война,
Встаёт мятеж, горят деревни,
А ты всё та ж, моя страна,
В красе заплаканной и древней.—
Доколе матери тужить?
Доколе коршуну кружить?

22 марта 1916

* * *

<ИЗ ГЛАВЫ ПОЭМЫ «ВОЗМЕЗДИЕ»>

Встань, выйди поутру на луг:
На бледном небе ястреб кружит,
Чертя за кругом плавный круг,
Высматривая, где похуже
Гнездо припрятано в кустах...
Вдруг — птичий щебет и движенье...
Он слушает... ещё мгновенье —
Слетает на прямых крылах...
Тревожный крик из гнёзд соседних,
Печальный писк птенцов последних,
Пух нежный по ветру летит —
Он жертву бедную когтит...
И вновь, взмахнув крылом огромным,
Взлетел — чертить за кругом круг,
Несытым оком и бездомным
Осматривать пустынный луг...
Когда ни взглянешь, — кружит, кружит...

Россия-мать, как птица, тужит
О детях; но — её судьба,
Чтоб их терзали ястреба.

1 июня 1916

СКИФЫ

*Панмонголизм! Хоть имя дико,
Но мне ласкает слух оно.*

Владимир Соловьёв

1

Мильоны — вас. Нас — тьмы, и тьмы, и тьмы.
 Попробуйте, сразитесь с нами!
Да, Скифы — мы! Да, азиаты — мы,—
 С раскосыми и жадными очами!

Для вас — века, для нас — единый час.
 Мы, как послушные холопы,
Держали щит меж двух враждебных рас—
 Монголов и Европы!

Века, века ваш старый горн ковал
 И заглушал громá лавины,
И дикой сказкой был для вас провал
 И Лиссабона, и Мессины!

Вы сотни лет глядели на Восток,
 Копя и плавя наши перлы,
И вы, глумясь, считали только срок,
 Когда наставить пушек жерла!

Вот — срок настал. Крылами бьёт беда,
И каждый день обиды множит,
И день придёт — не будет и следа
От ваших Пестумов, быть может!

О, старый мир! Пока ты не погиб,
Пока томишься мукой сладкой,
Остановись, премудрый, как Эдип,
Пред Сфинксом с древнею загадкой!..

Россия — Сфинкс. Ликуя и скорбя,
И обливаясь чёрной кровью,
Она глядит, глядит, глядит в тебя,
И с ненавистью, и с любовью!..

Да, так любить, как любит наша кровь,
Никто из вас давно не любит!
Забыли вы, что в мире есть любовь,
Которая и жжёт, и губит!

Мы любим всё — и жар холодных числ,
И дар божественных видений,
Нам внятно всё — и острый галльский смысл,
И сумрачный германский гений...

Мы помним всё — парижских улиц ад,
И венецьянские прохлады,
Лимонных роцц далёкий аромат,
И Кельна дымные громады...

Мы любим плоть — и вкус её, и цвет,
И душный, смертный плоти запах...
Виновны ль мы, коль хрустнет ваш скелет
В тяжёлых, нежных наших лапах?

Привыкли мы, хватая под уздцы
Играющих коней ретивых,
Ломать коням тяжёлые крестцы,
И умирять рабынь строптивых...

Придите к нам! От ужасов войны
Придите в мирные объятия!
Пока не поздно — старый меч в ножны,
Товарищи! Мы станем — братья!

А если нет, — нам нечего терять,
И нам доступно вероломство!
Века, века — вас будет проклинать
Больное позднее потомство!

Мы широко по дебрям и лесам
Перед Европою пригожей
Расступимся! Мы обернёмся к вам
Своею азиатской рожей!

Идите все, идите на Урал!
Мы очищаем место бою
Стальных машин, где дышит интеграл,
С монгольской дикою ордою!

Но сами мы — отныне — вам не щит,
Отныне в бой не вступим сами!
Мы поглядим, как смертный бой кипит,
Своими узкими глазами!

Не сдвинемся, когда свирепый Гунн
В карманах трупов будет шарить,
Жечь города, и в церковь гнать табун,
И мясо белых братьев жарить!..

В последний раз — опомнись, старый мир!

На братский пир труда и мира,

В последний раз — на светлый братский пир

Сзывает варварская лира!

30 января 1918

Д В Е Н А Д Ц А Т Ь

I

Чёрный вечер.
Белый снег.
Ветер, ветер!
На ногах не стоит человек.
Ветер, ветер—
На всём божьем свете!

Завивает ветер
Белый снежок.
Под снежком — ледок.
Скользко, тяжко,
Всякий ходок
Скользит — ах, бедняжка!

От здания к зданию
Протянут канат.
На канате — плакат:
«Вся власть Учредительному Собранию!»
Старушка убивается — плачет,
Никак не поймёт, что значит,
На что такой плакат,

Такой огромный лоскут?
Сколько бы вышло портянок для ребят,
А всякий — раздет, разут...
Старушка, как курица,
Кой-как перемотнулась через сугроб.
— Ох, Матушка-Заступница!
— Ох, большевики загонят в гроб!
Ветер хлётский!
Не отстаёт и мороз!
И буржуй на перекрёстке
В воротник упрятал нос.

А это кто? — Длинные волосы
И говорит вполголоса:
— Предатели!
— Погибла Россия!

Должно быть, писатель —
Витя.

А вон и долгополый —
Сторонкой — за сугроб...
Что нынче невесёлый,
Товарищ поп?

Помнишь, как бывало
Брюхом шёл вперёд,
И крестом сияло
Брюхо на народ?

Вон барыня в каракуле
К другой подвернулась:
— Уж мы плакали, плакали...
Поскользнулась
И — бац — растянулась!

Ай, ай!
Тяни, подымай!

Ветер весёлый
И зол, и рад.
Крутит подолы,
Прохожих кóсит,
Рвёт, мнёт и носит
Большой плакат:

«Вся власть Учредительному Собранию»...
И слова доносит:

...И у нас было собрание...

...Вот в этом здании...

...Обсудили—

Постановили:

На время — десять, на ночь — двадцать пять...

...И меньше — ни с кого не брать...

...Пойдём спать...

Поздний вечер.
Пустеет улица.
Один бродяга
Сутулится,
Да свищет ветер...

Эй, бедняга!
Подходи—
Поцелуемся...

Хлеба!
Что впереди?
Проходи!

Чёрное, чёрное небо.

Злоба, грустная злоба
Кипит в груди...
Чёрная злоба, святая злоба...

Товарищ! Гляди
В оба!

2

Гуляет ветер, порхает снег.
Идут двенадцать человек.

Винтовок чёрные ремни,
Кругом — огни, огни, огни...

В зубах — цыгарка, примят картуз,
На спину б надо бубновый туз!

Свобода, свобода,
Эх, эх, без креста!

Тра-та-та!

Холодно, товарищи, холодно!

— А Ванька с Катькой — в кабаке...

— У ей керенки есть в чулке!

— Ванюшка сам теперь богат...

— Был Ванька наш, а стал солдат!

— Ну, Ванька, сукин сын, буржуй,
Мою, попробуй, поцелуй!

Свобода, свобода,
Эх, эх, без креста!

Катька с Ванькой занята—
Чем, чем занята?..

Тра-та-та!

Кругом — огни, огни, огни...
Оплечь — ружейные ремни...

Революционный держите шаг!
Неугомонный не дремлет враг!

Товарищ, винтовку держи, не трусь!
Пальнём-ка пулей в Святую Русь —

В кондовую,
В избяную,
В толстозадую!

Эх, эх, без креста!

3

Как пошли наши ребята
В красной гвардии служить—
В красной гвардии служить—
Буйну голову сложить!

Эх ты, горе-горькое,
Сладкое житьё!
Рваное пальтишко,
Австрийское ружьё!

Мы на горе всем буржуям
Мировой пожар раздуем,
Мировой пожар в крови—
Господи благослови!

Снег крутит, лихач кричит,
 Ванька с Катькою летит—
 Электрический фонарик
 На оглобелях...
 Ах, ах, пади!..

Он в шинелишке солдатской
 С физьномией дурацкой
 Крутит, крутит черный ус,
 Да покручивает,
 Да пошучивает...

Вот так Ванька — он плечист!
 Вот так Ванька — он речист!
 Катьку-дуру обнимает,
 Заговаривает...

Запрокинулась лицом,
 Зубки блещут жемчугом...
 Ах, ты, Катя, моя Катя
 Толстоморденькая...

У тебя на шее, Катя,
 Шрам не зажил от ножа.
 У тебя под грудью, Катя,
 Та царапина свежа!

Эх, эх, попляши!
 Больно ножки хороши!

В кружевном белье ходила—
 Походи-ка, походи!

С офицерами блудила—
Поблуди-ка, поблуди!

Эх, эх, поблуди!
Сердце ёкнуло в груди!

Помнишь, Катя, офицера—
Не ушёл он от ножа...
Аль не вспомнила, холера?
Али память не свежа?

Эх, эх, освежи,
Спать с собою положи!

Гетры серые носила,
Шоколад Миньон жрала,
С юнкерьём гулять ходила—
С солдатъём теперь пошла?

Эх, эх, согреси!
Будет легче для души!

6

...Опять навстречу несётся вскачь,
Летит, вопит, орёт лихач...

Стой, стой! Андрюха, помогай!
Петруха, сзади забегай!..

Трах-тарарах-тах-тах-тах-тах!
Вскрутился к небу снежный прах!..

Лихач — и с Ванькой — наутёк...
Ещё разок! Взводи курок!..

Трах-тарарах! Ты будешь знать,

Как с девочкой чужой гулять!..

Утёк, подлец! Ужо, постой,
Расправлюсь завтра я с тобой!

А Катька где?— Мертва, мертва!
Простреленная голова!

Что, Катька, рада?— Ни гу-гу...
Лежи ты, падаль, на снегу!..

Революционный держите шаг!
Неугомонный не дремлет враг!

7

И опять идут двенадцать,
За плечами — ружьеца.
Лишь у бедного убийцы
Не видать совсем лица...

Всё быстрее и быстрее
Уторапливает шаг.
Замотал платок на шею —
Не оправиться никак...

— Что, товарищ, ты не весел?
— Что, дружок, оторопел?
— Что, Петруха, нос повесил,
Или Катьку пожалел?

— Ох, товарищи, родные,
Эту девку я любил...

Ночки чёрные, хмельные
С этой девкой проводил...

— Из-за удали бедовой
В огневых её очах,
Из-за родинки пунцовой
Возле правого плеча,
Загубил я, бестолковый,
Загубил я сгоряча... ах!

— Ишь, стервец, завёл шарманку,
Что ты, Петька, баба что ль?

— Верно, душу наизнанку
Вздумал вывернуть? Изволь!

— Поддержи свою осанку!

— Над собой держи контроль!

— Не такое нынче время,
Чтобы нянчиться с тобой!
Потяжеле будет бремя
Нам, товарищ дорогой!

И Петруха замедляет
Торопливые шаги...

Он головку вскидывает,
Он опять повеселел...

Эх, эх!

Позабавиться не грех!

Запирайте этажи,
Нынче будут грабежи!

Отмыкайте погреба—
Гуляет нынче голытьба!

Ох ты, горе-горькое!
 Скука скучная,
 Смертная!

Ужь я времечко
 Проведу, проведу...

Ужь я темечко
 Почешу, почешу...

Ужь я семечки
 Полущу, полущу...

Ужь я ножичком
 Полосну, полосну!..

Ты лети, буржуй, воробышком!
 Выпью кровушку
 За зазнобушку,
 Чернобровушку...

Упокой, господи, душу рабы твоея...

Скучно!

Не слышно шуму городского,
 Над невской башней тишина,
 И больше нет городского—
 Гуляй, ребята, без вина!

Стоит буржуй на перекрёстке
И в воротник упрятал нос.
А рядом жмётся шерстью жёсткой
Поджавший хвост паршивый пёс.

Стоит буржуй, как пёс голодный,
Стоит безмолвный, как вопрос.
И старый мир, как пёс безродный,
Стоит за ним, поджавши хвост.

10

Разыгралась чтой-то вьюга,
Ой, вьюга́, ой, вьюга́!
Не видать совсем друг друга
За четыре за шага!

Снег воронкой завился,
Снег столбушкой поднялся!

— Ох, пурга какая, спасе!
— Петька! Эй, не завирайся!
От чего тебя упас
Золотой иконостас?
Бессознательный ты, право,
Рассуди, подумай здраво—
Али руки не в крови
Из-за Катькиной любви?

Шаг держи революционный!
Близок враг неугомонный!

Вперёд, вперёд, вперёд,
Рабочий народ!

...И идут без имени святого
 Все двенадцать — вдаль.
 Ко всему готовы,
 Ничего не жаль...

Их винтовочки стальные
 На незримого врага...
 В переулочки глухие,
 Где одна пылит пурга...
 Да в сугробы пуховые—
 Не утянешь сапога...

В очи бьётся
 Красный флаг.

Раздаётся
 Мерный шаг.

Вот — проснётся
 Лютый враг...

И вьюга пылит им в очи
 Дни и ночи
 Напролёт...

Вперёд, вперёд,
 Рабочий народ!

...Вдаль идут державным шагом...
 — Кто ещё там? Выходи!
 Это — ветер с красным флагом
 Разыгрался впереди...

Впереди — сугроб холодный,
— Кто в сугробе — выходи!..
Только нищий пёс голодный
Ковыляет позади...

— Отвяжись ты, шелудивый,
Я штыком пощекочу!
Старый мир, как пёс паршивый,
Провались — поколочу!

...Скалит зубы — волк голодный —
Хвост поджал — не отстаёт —
Пёс холодный, — пёс безродный...
— Эй, откликнись, кто идёт?

— Кто там машет красным флагом?
— Приглядись-ка, эка тьма!
— Кто там ходит беглым шагом,
Хоронясь за все дома?

— Всё равно, тебя добуду,
Лучше сдайся мне живьём!
— Эй, товарищ, будет худо,
Выходи, стрелять начнём!

Трах-тах-тах! — И только эхо
Откликается в домах...
Только выюга долгим смехом
Заливается в снегах...

Трах-тах-тах!
Трах-тах-тах...

Так идут державным шагом —
Позади — голодный пёс,

Впереди — с кровавым флагом,
И за выюгой невидим,
И от пули невредим,
Нежной поступью надвьюжной,
Снежной россыпью жемчужной,
В белом венчике из роз—
Впереди — Иисус Христос.

Январь 1918

-

О РОССИИ, РУССКОМ НАРОДЕ И РУССКОЙ КУЛЬТУРЕ

(ВЫДЕРЖКИ ИЗ СТАТЕЙ, ДНЕВНИКОВ И ПИСЕМ)

А немцы до такой степени буржуазно скучны на вид, что о них совсем нечего писать. Страна страшно деловая, сухая. Из роз выглядывают серые лица. Пышность деревьев и цветов и плодородие земли точно ни к чему не обязывают. Нет ни одной хорошей фигуры ни у мужчины, ни у женщины. Женские лица просто на редкость безобразны, вообще нет ни одного красивого лица, мы не встречали по крайней мере. Все коренастые и грубые, заплывшие жиром. Тому же впечатлению способствуют большие, у которых ноги еле ходят, лица бледные и распухшие. Всё старики и старухи, молодых меньше. И почти никого, при первом взгляде, по-настоящему не жалко, до того бессмысленным кажется их существование.

И всё-таки, если бы мы были здесь с тобой вдвоём, просто так, не обращая внимания на лечение и лечащихся, было бы хорошо. Можно бы было почти никого не видеть и уходить в парк и за парк, на озеро и в поле. Несмотря на однообразие, было бы то преимущество, что мы бы были совсем вдвоём. Не было бы даже третьей — России. Здесь, по-моему, русский (осо-

бенно русский) совсем отделён — без земли, без языка и без людей, и даже к вилле прикреплён только минутой. Вот какое письмо. Я не люблю ни фактов, ни публицистики. И всё-таки написал тебе то и другое. А всё оттого, что выбился из колеи. Скоро отыщу точки устоя у Соловьёва и Достоевского. Нужно „задуматься“, чтобы понять хоть что-нибудь. Первые здешние думы были вялы. А немцы не „задумываются“, и все остальные видимые люди тоже. На лицах нет той складки, которая даже у нас на улицах различима. Вот, где истинно плоски лица, так это здесь — и по всей длине прусских железных дорог. Прости за мои письма. Я знаю, что ты там, севернее меня и лучше меня. И помню всё, но не могу выразить, или ещё не смею снова начинать выражать, оглушённый ужасно прозаической обстановкой. Здесь нужно „осмелиться“ сквозь целую ватагу людей, „живущих звериным обычаем“, воззвать к богу и к тебе. Нужно писать стихи и молиться твоему богу. А здесь нет бога, его не видели здешние люди.

*Письмо к Л. Д. Менделеевой из Германии
(31 мая 1903 г.).*

В творчестве Коневского и Миропольского также есть общая черта, интересная, как освещение того этапа русской поэзии, когда она из „собственно декадентства“ стала переходить к символизму. Одним из признаков этого перехода было совсем особенное, углублённое и отдельное чувство связи со своей страной и своей природой. Как будто впервые добытатель руды ощутил на своей лопате родную глину, родные пески и, подняв голову, заметил, в какой стране он работает, куда он опять возвратился, уйдя, казалось, безвозвратно, в глубь собственной души. Иван Коневской именно „на миг и тем — на век“ вдохнул в себя запах родной глины и загляделся на „размеры дальних расстояний“. Он полю-

бил „несокрушимой“ любовью родные, кривые просёлки в чахлах кустиках, ломаные линии горизонтов, голубую дымку дали: он понял каким-то животнo-детским, удивлённым и хмельным чутьём, что это и есть — Россия.

Рецензия на книгу А. Миропольского «Ведьма. Лествица» (1905 г.).

Мы живём в эпоху распахнувшихся на площадь дверей, отпылавших очагов, потухших окон. Мне часто кажется, что наше общее поприще — давно знакомый мне пустой рынок на петербургской площади, где особенно хищно воеет вьюга вокруг запертых на ночь ставен. Чуть мигают фонари, пустыня и безлюдье; только на нескольких перекрёстках словно вихрь проносит пьяное веселье, хохот, красные юбки; сквозь непроглядную ночную вьюгу женщины в красном пронесли шумную радость, не знавшую, где найти приют. Но больная, увечная их радость скалит зубы и машет красным тряпьем; улыбаются румяные лица с подмалёванными опрокинутыми глазами, в которых отразился пьяный приплясывающий мертвец — город. Смерть зовёт взглянуть на свои обнажённые язвы и хохочет промозгло, как будто вдали тревожно бьют в барабан...

Так мчитя в бешеной истерике всё, чем мы живём и в чём видим смысл своей жизни. Зажжённые со всех концов, мы кружимся в воздухе, как несчастные маски, застигнутые врасплох мстительным шутком у Эдгара По. Но мы, дети века, боремся с этим головокружением. Какая-то дьявольская живучесть помогает нам гореть и не сгорать.

Среди нас появляются бродяги. Праздные и бездомные шатуны встречаются на городских площадях. Можно подумать, что они навсегда оторваны от человечества, обречены на смерть. Но бездомность и оторванность их —

только видимость. Они вышли, и на время у них „в пути погасли очи“; но они знают веянье тишины.

На сквозниках безлюдных улиц эти бродяги точно распяты у стен. Они встречаются глазами, и каждый мерит чужой взгляд своим, и ещё не видит дна, не видит, где приютилась обнищавшая душа человеческая. Только одежды взвиваются в лохмотьях снежной пыли. Кажется, эти люди, как призраки, поднимутся вместе с бурей в чёрную пропасть неба, точно полетят на крыльях. Голос вьюги вывел их из паучьих жилищ, лишил тишины очага, напел им в уши,—и они поняли песню о вечном кружении,—песню, сулящую полёт. В глубинах неба открылся звёздный узор; его разрывают снежные хлопья, мчатся слепя глаза.

Там, в ночной завывающей стуже,
В поле звёзд отыскал я кольцо.
Вот лицо возникает из кружев,
Возникает из кружев лицо.

Вот плывут её вьюжные трели,
Звёзды светлые шлейфом влача,
И взлетающий бубен метели,
Бубенцами призывно бренча.

С лёгким треском рассыпался всер,
Разверзающий звёздную месть,
Но в глазах, обращённых на север,
Мне холодному — жгучая весть.

И над мигом свивая покровы,
Вся окутана звёздами вьюг,
Уплываешь ты в сумрак снеговой,
Мой от века загаданный друг.

Исчезает лицо, и опять кутается в снежное кружево, и опять возникает мечтой о бесконечной равнине. Мелькнувший взор цыганки, чей бубен звенит, чей голос сливается с песнями вьюги, зовёт в путь бесконечный.

Горе тому, кто заглядится в стеклянный астральный взор. Он обречён на игру случайностей, на вечное кружение среди хлопьев, улетающих во мрак. Он застынет в ликовании вьюги, и не будет исхода из великой радости над великой пустотой.

Но вьюга знает избранников. Её ласки понятны шагунам, распятым у заборов. Вьюга, распевая, несёт их, кружит и взмывает крылья лохмотий. И вот уже во мраке нет ни улиц, ни площадей. Всё исчезло: хрип далёких барабанов, хохот рынка, зияющие дыры потухших окон. Пустыня полей и еле заметный шоссейный путь. Города больше нет. Голос вьюги распевает в телеграфных столбах.

Простота линий, простота одиночества за городом. В бегстве из дому утрачено чувство собственного очага, своей души, отдельной и колючей. В бегстве из города утрачена сложная мера этой когда-то гордой души, которой она мерила окружающее. И взор, утративший память о прямых линиях города, расточился в пространстве.

Существа, вышедшие из города,— бродяги, нищие духом. Привычный, далеко убегающий, струящийся по равнинам каменный путь и, словно приросшее к нему, без него невысказанное, согнутое вперёд очертание человека с палкой и узелком.

На склоне палящего дня...
За мною грохочущий город
(А. Белый)

Днём и ночью, в октябрьскую стужу и в летний жар, бредут здесь русские люди — без дружбы и любви, без возраста — потомки богатырей.

Привязанность, молодость, дружба —
Исчезли, развеялись сном...
(А. Белый)

Нет конца и края шоссейным путям, где они тащатся, отдыхают и снова идут. Неприметливому взору покажется, что эти „горемыки“ сырые, обречённые, изгнанные, что они не знают, где приклонить голову, потому что одежды их в лохмотьях, а лица обезображены голодной тоской.

Но они блаженные существа. Добровольно сирота и обрекая себя на вечный путь, они идут, куда глядят глаза. И глядят они прямо перед собой, на каменный путь по бескрайным равнинам России. Они как бы состоят из одного зрения, точно шелестят по российским дорогам, одни глаза — угли, провожатаи в открытую даль. Дороги вьются и тянутся и опять возвращаются, и одно многотысячное око России бредёт и опять возвращается, неизвестно откуда берётся и не зависит от времени и дел людских. Уже и города почти сметены путями. Как неуклонные стрелы, пронзают их дороги, улицы превращаются в шоссейные пути.

На равнинах, по краям дорог, в зеленях или в сугробах, тлеют, гниют, обращаются в прах барские усадьбы с мрамором, с амурами, с золотом и слоновой костью, с высокими оградами вокруг столетних липовых парков, с шестиярусными скульптурными иконостасами в барских церквях. Вокруг заброшенных домов, всё шире, уже забегая в спутанные куртины, — прежние клумбы нежных цветов, — разрастаются торговые сёла, зеленеют вывески казённой винной лавки, растут серокрасные постоялые дворы. Всё это наскоро возведённое, угловое, деревянное, — больше не заграждает даль. И сини дали, и низки тучи, и круты овраги, и сведены леса, застилавшие равнины, — и уже нечему умирать и нечему воскресать. Это быт гибнет, сменяется безбытностью.

Шоссейными путями нищей России идут, ковыляют, тащатся такие же нищие с узлами и палками, неизвестно откуда, неизвестно куда. Их лица осунулись, и выкатив-

шиеся глаза с красной орбитой шунают даль. Бесцельно и праздно идут вереницами. Всё ясно для них и просто, как высокое небо над головой, как груды щебня и пласты родной глины по краям шоссе. Они обнищали так же, как великий простор, который обнажился вокруг них.

Это — священное шествие, стройная пляска праздной тысячеокой России, которой уже нечего терять; всю плоть свою она подарила миру и вот, свободно бросив руки на ветер, пустилась в пляс но всему своему бесцельному, непридуманному раздолю.

Открытая даль. Пляшет Россия под звуки длинной и унылой песни о безбытности, о протекающих мигах, о пробегаящих полосатых вёрстах. Где-то вдали заливается голос или колокольчик, и ещё дальше как рукавом машут рябины, все осыпанные красными ягодами. Нет ни времён, ни пространств на этом просторе. Однообразны канавы, заборы, избы, казённые винные лавки, не знающий, как быть со своим просторным весельем, народ, будто удалой запевало, выводящий из хоровода девушку в красном сарафане. Лицо девушки вместе смеётся и плачет. И рябина машет рукавом. И странные люди приплясывают по щебню вдоль торговых сёл. Времени больше нет.

Вот русская действительность — всюду, куда ни оглянешься, — даль, синева и щемящая тоска неисполнимых желаний.

„Безвременье“ (Октябрь 1906 г.)

Я утверждаю далее, что если и есть реальное понятие „Россия“ или лучше — *Русь* — помимо территории, государственной власти, государственной церкви, сословий и пр., то есть, если есть это великое, необозримое, просторное, тоскливое и обетованное, что мы привыкли объединять под именем *Руси*, — то выразителем его

приходится считать в громадной степени — Горького...

...неисповедимо, по роковой силе своего таланта, по крови, по благородству стремлений, по „бесконечности идеала“ (слова В. В. Розанова) и по масштабу своей душевной муки — Горький — русский писатель.

„О реалистах“ (май — июнь 1907 г.)

„Пробуждение весны“ — несложный и непоследовательный набор как милых, так и нелепых картинок, где остроумный водевиль соединяется с высокопарным ломаньем. В центре пьесы стоит вопрос, над которым автор по-немецки сюсюкает. Никогда этот вопрос не стоял так у нас, в России; если же и становится так теперь, то только в замкнутых кругах, обречённых на медленное гниение, в классах, от которых идёт трупный запах. Нам этих немецких жеребчиков в куцых штанишках не приходится жалеть: пропадай „на сеновале“ хоть десять „Морицев“ — у нас есть ещё люди не машинного производства — с волей, с надеждами, с „мечтами“, с „идеалами“ — пусть даже пошлые слова.

Наша жизнь выше и больше этой мелкотравчатой жизни...

У нас есть произведения, в которых пробиваются родники истинного искусства, или произведения, в которых сама наша земля и наше измученное сердце кричат голосами нелепыми, нестройными, „неискусными“, но необходимыми нам. Зачем же нам слушать немца, который ковыряет зубочисткой в зубах и совсем изнемогает от сытости? Мы — голодные, нам холодно. Но мы всегда готовы „бросать в каменный лоб раскалённые ядра сверкающей мысли“, „звенеть щитами“, „блестеть мечами“.

Статья о драме Ф. Ведыкина „Пробуждение весны“ (сентябрь 1907 г.)

Писатель — обречённый; он поставлен в мире для того, чтобы обнажать свою душу перед всеми, кто голоден духовно. Народ собирает по капле жизненные соки для того, чтобы произвести из среды своей всякого, даже не крупного писателя. И писатель становится добычей толпы; обнищавшие души молят, просят, требуют, берут у него обратно эти жизненные соки сторицею. Нет предела формам этих просьб и требований: девушка смотрит жалобным широким взглядом и просит: спой мне песню, чтобы я, как в зеркале, увидала в ней себя, чтобы стала краше, чтобы милый полюбил меня; обыватель говорит: расскажи мне про моё житьё-бытьё, чтобы стало мне до чрезвычайности жалостно, чтобы заскорузная душа моя изошла в благодатных слезах о самом себе, о моей неприглядной жизни, о моей некрасивой и старой жене и золотушных детях; общественный деятель говорит: вдохнови меня на правое дело, не то останешься ты презренным тунеядцем и ни одна капля твоего пустого вдохновения не достанется обществу, которому ты обязан своим бытием; и нищий кричит: вопи богатым, чтобы они отпирали сундуки и делились золотом с нами, не то мы придём жечь, грабить и бить их, и тебя первого распнём! И многие другие просят и требуют у писателя того, что им нужно, как воздух и хлеб. И писатель должен давать им это, если он писатель, то есть, обречённый. Может быть, писатель должен отдать им всю душу свою, и это касается особенно русского писателя. Может быть, оттого так рано умирают, гибнут или, просто, изживают своё, именно русские писатели, что нигде не жизненна литература так, как в России, и нигде слово не претворяется в жизнь, не становится хлебом или камнем так, как у нас. Потому-то русским писателям меньше, чем кому-нибудь, позволительно жаловаться на судьбу; худо ли, хорошо ли, их слушают, а чтобы их слышали, наполовину зависит от них самих. Есть ред-

во случаи аристократического брюзжания, недовольства всем на свете, скуки, апатии, недоверия, но они тонут в ком. И есть громадная косность и пресыщенность, всё олее забирающая в свои лапы часть народа, но это далеко не весь народ, а лишь тысячная доля его. Об том речь будет впереди.

Итак, писатель обречён выворачивать на изнанку душу свою, делиться своим заветным с толпой. Так было искони, так это есть и теперь, и так будет всегда, пока существуют писатели. Писатель, может быть, больше всего, — человек, потому-то ему случается так особенно мучительно безвозвратно и горестно растрчивать своё человеческое „я“, растворять его в массе других требовательных и неблагодарных „я“.

Таков писатель. Если он ответственен, он таскает на спине своей слова бунта и утешения, страдания и радости, сказки и правду о земле и о небе — сколько ему под силу.

Та действительно великая, действительно мучительная, действительно переходная эпоха, в которую мы живём, лишает нас всех очарований, и на всех перекрёстках подстерегает нас какая-то густая мгла, какое-то далёкое багровое зарево событий, которых мы все страстно ждём, которых боимся, на которые надеемся...

Да, мы накануне „великого бунта“. Мы — накануне событий, и то, что не удалось один, другой и третий раз — удастся в четвёртый...

Итак, мы живём в переходное время, надеюсь, это ясно всем? На перекрёстках подстерегает нас тоска, но, если вам угодно, наймите хорошего извозчика и поезжайте смело, она пока не догонит вас, и даже вы с вашими дамами окатите её грязью с резиновых шин. И она, как голодная шавка, подожмёт хвост, если вы плеснёте в неё золотым шампанским. Только вот не станет ли вам

«сучно по другим каким-либо причинам? Ну, например, разонравятся вам ваши дамы, или шампанское, или дрожки? Дай бог. Не всё же веселиться, пора и поскучать — не пора ли? Не пора ли? Остаться одному как шест на снежном поле, растратить душу, закручиниться и не знать, куда пойти — стать „нищим духом“ „Надо же человеку, чтобы было, куда пойти“, говорил Достоевский. Должно быть надо. И вот, вероятно, единственная дорога для человека, который остался один, потерял душу, обнищал: дорога к делу. А для того, кто изведал сладость, а потом и горечь старых дум и старых дел, остаётся живым только одно новое дело.

Для этого нового дела есть богатая почва во всех областях русской жизни, русской общественности, русского искусства. Такая благодарная почва, как ни в одной стране.

Наши сны близки к действительности. Слова наши готовы воплотиться. И весна наша — поздняя весна, и на небе уж грозовые тучи. Слова героини великой символической драмы Островского сбываются, ибо идёт на нас Гроза, плывёт дыхание сжигающей страсти, и стало нам душно и страшно. Не сегодня — завтра постучится в двери наших театров уже не эта пресыщенная толпа современной интеллигенции, а новая, живая, требовательная, дерзкая. Будем готовы встретить эту юность. Она разрешит наши противоречия, она снимет груз с усталых плеч, окрылит или погубит. И мы вовеки не забудем пророческих слов великого строителя Солынеса, проникнутых вещим, грозовым трепетом: „Юность — это возмездие“.

„О театре“ (февраль — март 1908 г.)

Перед нами вопрос мучительный и сложный, для нас реальный и первый вопрос, о „дифференцированной куль-

туре“ Мютерлинков и Роденбахов, никогда не сшившийся. Вопрос о „западничестве“ и „славянофильстве“, говоря обобщённо, всё то море волн, литературных и житейских, над которым мыслили, скорбели, пели, плакали и умирали подлинно русские люди несколько десятков лет, над которым остановился и наш момент истории, ибо кто же, кроме людей заведомо отвлечённых или желающих скрывать по тем или иным причинам свое духовное „я“ (впрочем, всяческой „тактики“ русская литература искони чуждалась, и упрекнуть её в неискренности и умалчивании никак нельзя),—кто же станет отрицать насущность в наше время вопроса „национального“?

„Письма о поэзии“ (август 1908 г.)

Когда в 1881 году Победоносцев убедил правительство повесить пятерых „цареубийц“, Лев Толстой написал просьбу о помиловании их и просил Победоносцева передать эту просьбу. Несмотря на отказ Победоносцева, письмо дошло до царя (через генерала Черевина). Тогда в знаменитом заседании Государственного Совета 8 марта Победоносцев произнёс свою историческую речь, стоял на требовании о повешении и, ухватив кормило государственного корабля, не выпускал его четверть века, стяжав себе своей страшной практической деятельностью и несокрушимым гробовым холодом своих теорий имя старого „упыря“.

Старый упырь теперь в могиле. Но мы знаем одно: в великую годовщину 28 августа, в сиянии тихого осеннего солнца, среди спящей, усталой, „горестной“, но всё той же великой России, под знакомый аккомпанемент административных распоряжений и губернаторско-уряднических запрещений шевелиться, говорить и радоваться по поводу юбилея Льва Толстого,—прошла всё та же чудовищная тень.

Тень старого упыря наложила запрет на радость.

День 28 августа прошёл, как принято выражаться „в общем спокойно“. Это значит, в переводе на русский язык, зловеще, в мрачном молчании. „Реакция“. „Усталость“. Толстому дарят плуг и самовар. Толстому шлют телеграммы о победе света над тьмою. Несколько газет выпускают юбилейные номера... Таков день 28 августа.

Всё привычно, знакомо, как *во все великие дни, переживаемые в России*. Вспоминается всё мрачное прошлое родины, всё, как подобает в великие дни. Чья мёртвая рука управляла пистолетами Дантеса и Мартынова. Кто пришёл сосать кровь умирающего Гоголя? В каком тайном и быстро сжигающем огне сгорели Белинский и Добролюбов? Кто увёл Достоевского на Семёновский плац и в мёртвый дом? И когда в России не было *реакции*, того, что с нею и за нею, того, что мы, пережившие ясные и кровавые зори 9 января, осуждены переживать теперь *каждый день*? Или это так мало — „политическая реакция“? За этим вульгарным словом стоит та обыденность и каждодневность, которую мы ощущаем на собственной шкуре, с доподлинной силой и яркостью. Это не только „неудобно“, „скучно“, „томительно“. Это — *страшно и странно*.

Величайший и единственный гений современной Европы, высочайшая гордость России, человек, одно имя которого благоухание, писатель великой чистоты и святости, — живёт среди нас. И неусыпно *следит за ним* чьё-то зоркое око. Кто же это: министр ли, который ведает русскую словесность, простой ли сыщик, или урядник? Да неужели нам всем, любящим Толстого, как часть своей души и своей земли, было бы так *странно* и так *страшно*, если бы за душой и землёй нашей следили *только* они? И разве видно им сокровенное земли и души нашей благословенные дали Ясной Поляны? Нет, не они смотрят за Толстым, их глазами глядит мёртвое и зоркое!

око, подземный, могильный глаз упыря. И вот при свете ясного и неугасимого солнца, в несомненный день рождения Льва Николаевича Толстого, а следовательно, в день ангела и моего и тысяч других людей,— становится нам жутко, и мы, писательская братия, говорим слова тревожные, говорим древним, хаотическим, „двоеверным“ языком могильных преданий.

Часто приходит в голову: всё ничего, всё ещё просто и не страшно сравнительно, пока жив Лев Николаевич Толстой. Ведь гений одним бытием своим как бы указывает, что есть какие-то твёрдые, гранитные устои; точно на плечах своих держит и радостью своею поит и питает всю страну и свой народ. Ничего, что нам запретил радоваться святейший Синод, мы давно уже привыкли без него печалиться и радоваться. Пока Толстой жив, идёт по борозде, за плугом, за своей белой лошадкой,— ещё росисто утро, свежо, нестрашно, упыри дремлют, и — слава богу. Толстой идёт — ведь это солнце идёт. А если закатится солнце, умрёт Толстой, *уйдёт последний гений*, — что тогда?

Дай господи долго ещё жить среди нас Льву Николаевичу Толстому. Пусть он знает, что *все* современные русские граждане, без различия идей, направлений, верований, индивидуальностей, профессий, впитали с молоком матери хоть малую долю его великой жизненной силы.

„Солнце над Россией“. Восьмидесятилетие Льва Николаевича Толстого (сентябрь 1908 г.)

...И вот поднимается тихий занавес наших сомнений, противоречий, падений и безумств: слышите ли вы задыхающийся гон тройки? Видите ли её, ныряющую по сугробам мёртвой и пустынной равнины? Это — Россия летит неведомо куда, в сине-голубую пропасть времени, на разубранной своей и разукрашенной тройке. Видите ли вы её звездные очи, с мольбой обращённые к нам:— По-

люби меня, полюби красоту мою!— Но нас от неё отделяет эта бесконечная даль времени, эта синяя морозная мгла, эта снежная звездная сеть.

Кто же проберётся навстречу летящей тройке тропам тайными и мудрыми, кротким словом остановит взмыленных коней, смелой рукой опрокинет демонского ямщика и —...

Записная книжка (26 октября 1908 г.)

Если мы опустим на минуту медленный занавес над тревожным и блистательно-пёстрым действием, уже не видно будет непрестанной суетни царей, шутов и солдат, уже не раздражит взора бесконечная пестрота их одежд и распрей. Будет слышен только несмолкаемый гул с преобладанием одной какой-то, всё возрастающей ноты.

Когда Гоголь опустил занавес над действием своих „Мёртвых душ“, он услышал возрастающее бормотание бубенцов, далёкий топот и крики ямщика — лёт бешеной тройки, „вдохновенной богом“.

„Русь, куда ж несёшься ты? Дай ответ. Не даёт ответа. Чудным звоном заливаются колокольчик; гремит и становится ветром разорванный в куски воздух“.

Среди суеты и многолюдства нам надо иногда опускать занавес, прислушиваться к тишине, внимать приближению бога, вникать в разрастающиеся звоны набегавшей тройки, благодатной, сходящей на нас красавицы-России...

„Вопросы, вопросы и вопросы“ (ноябрь 1908 г.)

Сердце Горького тревожится и любит, не обожествляя, требовательно и сурово, по-народному, как можно любить мать, сестру и жену в едином лице родины — России. Это конкретная, если можно так выразиться; „ограниченная“ любовь к родным лохмотьям, к тому, чего

..не поймёт и не заметит гордый взор иноплеменный“.
Любовь эту знали Лермонтов, Тютчев, Хомяков, Некра-
вов, Успенский, Полонский, Чехов.

.....

Есть действительно не только два понятия, но две
реальности: народ и интеллигенция; полтора ста мил-
лионов, с одной стороны, и несколько сот тысяч — с дру-
гой; люди, взаимно друг друга не понимающие в самом
основном.

Среди сотен тысяч происходит торопливое брожение,
непрестанная смена направлений, настроений, боевых зна-
мён. Над городами стоит гул, в котором не разобраться
и опытному слуху; такой гул, какой стоял над татарским
станом в ночь перед Куликовской битвой, как говорит
сказание. Скрипят бесчисленные телеги за Непрядвой,
стоит людской вопль, а на туманной реке тревожно
плещутся и кричат гуси и лебеди.

Среди десятка миллионов царствуют, как будто, сон
и тишина. Но и над станом Дмитрия Донского стояла ти-
шина; однако, заплакал воевода Боброк, припав ухом к
земле: он услышал, как неутешно плачет вдовица, как
мать бьётся о стремя сына. Над русским станом по-
лыхала далёкая и зловеющая зарница.

.....

Нужно любить Россию, нужно „проездитья по Рос-
сии“, писал перед смертью Гоголь. Как полюбить бра-
тьев? Как полюбить людей? Душа хочет любить одно
прекрасное, а бедные люди так несовершенны, и так в
них мало прекрасного! Как же сделать это? Поблагода-
рите бога прежде всего за то, что вы — русский. Для
русского теперь открывается этот путь, и этот путь—
есть сама Россия. Если только возлюбит русский Рос-
сию,— возлюбит и всё, что ни есть в России.

Все эти рассуждения и соображения мои клонятся лишь к тому, чтобы поставить три вопроса:

1) Действительно ли есть непреодолимая „недоступная черта“ между интеллигенцией и народом, интеллигенцией и Россией?

2) Если да, то остаётся ли надежда на что-либо кроме „знаменитой силы инерции“, недаром прославленной Победоносцевым в 1881 году? Но ведь и инерция имеет свой предел, так что без вечного страха за свою культуру, за жизненный уклад, за семью, за искусство, за науку — всё равно не прожить. А какая же работа плодотворна под игом такого страха? Страх можно победить только samozабвением и гибелью.

3) Если же переходима эта глубокая черта, эта очарованная и проклятая пропасть, то каковы пути к народному сердцу любимой и до сих пор неузнанной лицом к лицу родины — России?

„Народ и интеллигенция“ (ноябрь 1908 г.)

Ведь тема моя, я знаю теперь это твёрдо, без всяких сомнений, — живая, реальная тема; она не только больше меня, она больше всех нас; и она всеобщая наша тема. Все мы, живые, так или иначе к ней же придём. Мы не пойдём, — она сама пойдёт на нас, уже пошла. Откроем сердце — исполнит его восторгом, новыми надеждами, новыми снами, опять научит свергнуть проклятое „татарское“ иго сомнений, противоречий, отчаянья, самоубийственной тоски, „декадентской иронии“ и пр. и пр., всё то иго, которое (мы, „нынешние“, в полной мере несём.

Не откроем сердца — погибнем (знаю это, как дважды два четыре). Полуторастамиллионная сила пойдёт на нас, сколько бы штыков мы ни выставили, какой бы „Великой России“ (по Струве) мы не воздвигли.

Свято нас растопчет; будь наша культура — семи пядей во лбу, не останется от неё камня на камне.

В таком виде стоит передо мной моя тема, *тема о России* (вопрос об интеллигенции и народе в частности). Этой теме я сознательно и бесповоротно *посвящаю жизнь*. Всё ярче сознаю, что это первейший вопрос, самый жизненный, самый *реальный*. К нему-то я подхожу давно, с начала своей сознательной жизни, и *знаю*, что путь мой в основном своём устремлении, — как стрела, прямой, как стрела — *действенный*. Может быть, только не отточена моя стрела. Несмотря на все мои уклонения, падения, сомнения, покаяния, — *я иду*. И вот теперь уже (ещё нет 30 лет) забрезжили мне, хоть смутно, очертания целого. Недаром, может быть, только *внешне* неловко, *внешне* бессвязно произношу я имя *Россия*. Ведь здесь — жизнь, или смерть, счастье, или погибель. К возрождению национального самосознания, к новому, иному „*славянофильству*“, без „*трёх китов*“ (или по крайней мере, без китов православия и самодержавия) и без „*славянства*“ (этого не предрешаю, но мал ведь и мало реален вопрос хотя бы о Боснии и Герцоговине) *влечёт, я знаю, всех нас*.

Ибо мера нашей утончённости исполнилась, то есть утончённость уже вошла в плоть и кровь, всегда с нами, мы уже не трепещем за неё (конечно, я говорю „мы“ лишь в предчувствии новых людей, пока их несомненно мало); и потому мы *вправе* стать *реалистами* в новом смысле. Все эти слова мои — в ответ на 1) вашу тревогу о том, что в пьесе моей [„*Песня Судьбы*“. — *Ред.*] я всё твержу: *Россия*; 2) в знак полного моего согласия с вашим утверждением, что все „*измы*“ в искусстве включаются в „*утончённый, облагороженный, очищенный реализм*“.

Письмо к К. С. Станиславскому (9 декабря 1908 г.)

Современная русская государственная машина есть, конечно, гнусная, слюнявая, вонючая старость, семидесятилетний сифилитик, который пожатием руки маражает здоровую юношескую руку. Революция русская в её лучших представителях — юность с нимбами во круг лица. Пускай даже она не созрела, пускай часто отрочески немудра, завтра возмужает. Ведь это ясно, как божий день.

Нам завещана в фрагментах русской литературы от Пушкина и Гоголя до Толстого, во вздохах измученных русских общественных деятелей XIX века, в светлых и неподкупных, *лишь временно помутившихся* взорах русских мужиков — огромная (только не схваченная ещё железным кольцом мысли) *концепция* живой, могучей и юной России. Если где эти заветы хранятся, то, конечно, уж не в сердцах „реальных политиков“ (хотя бы реальнейших из них и живейших кадет), не в Столыпинском, не в Романовском, но только в тех сердцах, которые тревожно открыты, в мыслях, которые вбирают в себя эту концепцию, как свежий воздух.

Если есть чем жить, то только этим. И если где такая Россия „мужает“, то уж, конечно, только в сердце русской революции в самом широком смысле, включая сюда русскую литературу, науку и философию, молодого мужика, одержанно раздумывающего думу „всё об одном“, и юного революционера с сияющим правдой лицом, и всё вообще непокладливое, одержанное, грозное, пресыщенное электричеством. С этой грозой никакой громоотвод не сладит.

Письмо к В. В. Розанову (20 февраля 1909 г.)

Так влечёт к себе Гоголя новая родина, синяя даль, в бреду рождения сняющаяся Россия.

„Русь! Русь!.. Какая непостижимая, тайная сила влечёт к тебе? Почему слышится и раздаётся неумолчно

гушах твоя тоскливая, несущаяся по всей длине и ширине твоей, от моря до моря, песня? Что в ней, в этой песне? Что зовёт и рыдает, и хватается за сердце?— Русь! Чего ж ты хочешь от меня? Какая непостижимая связь таится между нами?“

Чего она хочет?— *Родиться, быть.* Какая связь между ним и ею?— Связь творца с творением, матери с ребёнком.

Та самая Русь, о которой кричали и пели кругом славянофилы, как корибанты, заглушая крики матери бога; она-то сверкнула Гоголю, как ослепительное видение, в кратком творческом сне. Она далась ему в красоте и музыке, в свисте ветра и в полёте бешеной тройки. „У, какая сверкающая, чудная, *незнакомая даль!*.. Русь! куда ж несёшься ты? дай ответ. Не даёт ответа. Чудным звоном заливаются колокольчик; гремит и становится ветром разорванный в куски воздух“.

Что изменило ослепительное видение Гоголя в действительной жизни? Ничего. *Здесь* — осталась прежняя, комяковская, „недостойная избранья“ Россия:

В судах черна неправдой чёрной
И игом рабства клеймена.

Там — сверкнуло чудесное видение. Как перед весной разрываются иногда влажные тучи, открывая особенно крупные, точно новорожденные и омытые звёзды, так разорвалась перед Гоголем непроницаемая завеса дней его мученической жизни; а с нею вместе — завеса вековых российских буден; открылась омытая весенней влагой, синяя бездна, „незнакомая земле даль“, будущая Россия...

Такая Россия явилась только в красоте, как в сказке, зримая духовным очам. Вслед за Гоголем снится она и нам...

В полёте на воссоединение с целым, в музыке миро-

вого оркестра, в звоне струн и бубенцов, в свисте ветра, в визге скрипок — родилось дитя Гоголя. Этого ребёнка назвал он Россией. Она глядит на нас из синей бездны будущего и зовёт туда. Во что она вырастет, — не знаем; как назовём её, — не знаем.

„Дитя Гоголя“ (март 1909 г.)

Меня постоянно страшно беспокоит и то, как вы живёте в Шахматове, и то, что вообще происходит в России. Единственное место, где я могу жить, — всё-таки Россия, но ужаснее того, что в ней (по газетам и по воспоминаниям), кажется, нет нигде...

Часто находит на меня страшная апатия. Трудно вернуться и как будто *некуда* вернуться — на таможенные обворуют, в середине России повесят или посадят в тюрьму, оскорбят, — цензура не пропустит того, что я написал.

Письмо к матери из Италии (19 июня 1909 г.)

Я (мы) не с теми, кто за старую Россию (союз русского народа, сюда и Розанов!), не с теми, кто за европеизм (социалисты, к.-д., Венгеров, например), но — за новую Россию, какую-то, или — за „никакую“: или её не будет, или она пойдёт совершенно другим путём, чем Европа...

Записная книжка (15 июля 1909 г.)

Как сорвалось что-то в нас, так сорвалось оно и в России. Как перед народной душой встал ею же созданный синий призрак, так встал он и перед нами. И сама Россия в лучах этой новой (вовсе не Некрасовской, но лишь традицией связанной с Некрасовым) гражданственности оказалась нашей собственной душой.

*„О современном состоянии русского символизма“
(8 апреля 1910 г.)*

Я совсем не хочу спорить с Мережковским, но начал с него потому, что многие вслед за ним, пожалуй, читают гордым и самоуверенным утверждение: „Как Россия, так и мы“.

На самом же деле, что особенно самоуверенного в том, что писатель, верующий в своё призвание, каких бы размеров этот писатель ни был, сопоставляет себя со своей родиной, полагая, что болеет её болезнями, страдает её страданиями, сораспинается с нею, и в те минуты, когда её измученное тело хоть на минуту перестаёт пытаться, чувствует себя отдыхающим вместе с нею?

Чем больше чувствуешь связь с родиной, тем реальнее и охотнее представляешь её себе, как живой организм; мы имеем на это право, потому что мы, писатели, должны смотреть жизни как можно пристальнее в глаза; мы не учёные, мы другими методами, чем они, систематизируем явления и не призваны их схематизировать. Мы также не государственные люди и свободны от тягостной обязанности накидывать крепкую стальную сеть юридических схем на разгорячённого и рвущегося из правовых пут зверя. Мы люди, люди по преимуществу, и значит прежде всего обязаны уловить дыхание жизни, то есть увидеть лицо и тело, почувствовать, как живёт и дышит то существо, которого присутствие мы слышим около себя.

Родина — это огромное, родное, дышащее существо...

И земная родина ещё поит нас и кормит у груди, мы ей обязаны нашими силами и вдохновением и радостями.

Родина подобна своему сыну — человеку. Когда она здорова и отдыхает, всё её тело становится таким же чувствительным, как здоровое человеческое тело: нет ни одного пункта, подверженного анестезии, всё дышит,

видит, на каждый удар или укол она поднимает гнетую голову, под каждой лаской становится нежной и страстной. Органы чувств её многообразны, диапазон её очень велик. Кто же играет роль органов чувств этого подобного милого нам существа?

Роль этих органов играют, должны играть все люди. Мы же, писатели, свободные от всех обязанностей кроме человеческих, должны играть роль тончайших и главнейших органов её чувств. Мы — не слепые её инстинкты, но её сердечные боли, её думы и мысли, её волевые импульсы.

Так ли это на самом деле есть, как должно быть?

Я думаю, что это, как было прежде, так и есть теперь. Если и есть неблагополучие в этом вопросе, то неблагополучие поправимое. Ничто не погибло, всё поправимо, потому что не погибла она и не погибли мы.

Неблагополучие было в том, что мы были слишком слабы, чтобы руководить тяжело страдающим существом, и во всем уподобились ему. Но поистине нечеловеческие силы надо было иметь, чтобы руководить существом, каким была вздернутая на дыбы, разгневанная и рвущая путы Россия начала нашего века.

Открытое письмо Д. Мережковскому (ноябрь 1910 г.)

Всё изменяется; мы стоим перед лицом нового и всемирного. Недаром в промежутке от смерти Вл. Соловьёва [1900 г.—Ред.] до сегодняшнего дня мы пережили то, что другим удаётся пережить в сто лет; недаром мы видели, как в громах и молниях стихий земных и подземных новый век бросал в землю свои семена; в этом грозном свете нам промечтались и умудрили нас поздней мудростью все века. Те из нас, кого не смыла и не искалечила страшная волна истекшего десятилетия,—с

полным правом и ясной надеждой ждут нового света от нового века.

„Рыцарь-монах“ (13 декабря 1910 г.)

Я яростно ненавижу русское правительство („Новое время“), и моя поэма [„Возмездие“.—Ред.] этим пропитана.

Письмо к матери (17 февраля 1911 г.)

До ужаса знакомо то, что ты пишешь о первом впечатлении о России; у меня было подобное: морозящий дождь — стражник трусит по намокшей пашне с винтовкой за плечами; и чувствую, что все города России (и столица в том числе) — одна и та же станция „Режица“ (жандарм, красная фуражка и баба, старающаяся перекричать ветер).— В этих глубоких и тревожных снах мы живём и должны постоянно вскакивать среди ночи и отгонять сны. И я люблю вскакивать среди ночи — всё больше.

Всё дело в том, есть ли сейчас в России хоть один человек, который здраво, честно, наяву и по-божьи (то есть, имея в себе в самых глубинах скрытое, но верное „Да“), сумел бы сказать „Нет“ всему настоящему; впрочем, я начал и сейчас же бросаю развивать ту длинную нить, которую я лелеял всю эту зиму и которой я не оставляю. Пишу и хочу писать об этом...

Письмо к А. Белому (8 мая 1911 г.)

Не всё можно предугадать и предусмотреть. Кровь и огонь могут заговорить, когда их никто не ждёт. Есть Россия, которая, вырвавшись из одной революции, жадно смотрит в глаза другой, может быть более страшной.

«Пламень» (октябрь 1913 г.)

Последний срок для представления в „День“ отчета о своих чувствах, по возможности к Бельгии, в стихах или в прозе.

Я же чувствую только Россию одну.

Записная книжка (6 октября 1914 г.)

Посылаю вам с тётёй „Стихи о России“. Всё — не заказное.

Письмо к матери (29 мая 1915 г.)

...Нельзя забывать о том, что век наш — „железный“ и что всякая сентиментальность по отношению к детям в наше время есть великий грех, потому что может развить в них бездеятельность, апатичность, неприспособленность к жизни, следовательно сделать из них несчастных безвольных людей.

...Нельзя забывать, что нашим детям предстоит в ближайшем будущем входить во всё более тесное общение с народом, потому что будущее России лежит в еле ещё тронутых силах народных масс и подземных богатств; песенка всяких уютных „привилегированных“ заведений спета, уж поздно рассуждать о том, что их „на наш век хватит“. Дети наши пойдут в *технические школы* по преимуществу и рано соприкоснутся с так называемым невежеством, темнотой, цинизмом, жестокостью и т. п. Имея всё это в виду, надо по мере сил *объяснять* детям всё „народное“; на родителях лежит громадная ответственность; если нельзя требовать с них творчества (как нельзя вообще требовать с человека таланта, если бог его обидел талантом), то надо требовать, по крайней мере, честности; чтобы не закрывали глаз на действительность.

Право, если перестать всячески белоручничать, многое „неприглядное“ объяснится и окажется на вольном воздухе гораздо более приглядным, чем казалось в четырёх стенах.

...Россия явно требует уже не чиновников, а граждан; ближайшее будущее России требует граждан-техников граждан-инженеров; а в какой мере нехватает инженерам и техникам „творческой интуиции“, нам показывает эта печальная действительность; а какое великое *возрождение, то есть сдвиг всех сил*, нам предстоит и до какой степени техника и художественное творчество *немыслимы друг без друга* (Τέχνη — по-гречески искусство), мы скоро увидим, ибо, если мы только выправимся после того потопа, нам предстоит перенестись на крыльях в *поху великого возрождения*, происходящего под знаком *художественности и воли*.

Записная книжка (5 ноября 1915 г.)

Вся современная жизнь людей есть *холодный ужас*, несмотря на отдельные светлые точки,— ужас надолго поправимый. Я не понимаю, как ты, например, можешь говорить, что всё хорошо, когда наша родина, может быть, на краю гибели, когда социальный вопрос так обострён во всем мире, когда нет общества, государства, семьи, личности, где было бы хоть сравнительно благополучно.

Всего этого ужаса не исправить отдельным людям, как бы хороши они ни были; иногда даже эти отдельные светлые точки кажутся кощунственным диссонансом, потому что слишком черна, а в черноте своей величаво кружающая нас ночь. Эта мысль довольно хорошо выражена между прочим в одном рассказе Л. Андреева (не помню заглавия), где чорт говорит, что стыдно быть кошшим. Свет идёт уже не от отдельных людей и не от отдельных добрых начинаний; мы вступили явственно в поху совсем новую, и новые людские отношения, понятия, мысли, образы пока ещё в большинстве не поддаются определению.

Письмо к С. Н. Качаловой-Тутолминой (15 января 1916 г.)

Страна просыпается не по дням, а по часам и косности и лени всё ещё много. Всё ещё действуют кол где разлагающие яды, которые расточались в течение сятков лет нововременцами всякого рода. Секрет их д ственности заключался не столько в каких-нибудь ц грамммах, которые они меняли, в зависимости от выг сколько в умелой пропаганде всякого воздержания действия, в замалчивании вопиющих фактов.

„К избирателям“ (февраль 1916)

Бертран любит свою родину, притом в том обра в каком только и можно любить всякую родину, когда действительно любишь. То есть, говоря по-нашему, он националист, но он француз, для него существует в dame Гансе, которая жива только в мечте... От з любви к родине и любви к будущему — двух любвей, разрывно связанных, всегда предполагающих ту или д гую долю священной ненависти к настоящему своей дины, — никогда и никто не получал никаких выгод.

О драме „Роза и Крест“. Объяснительная записка для Московского Художественного теат (март 1916 г.)

Мама, сегодня приехал я в Петербург... Я дово м туп, плохо всё воспринимаю, потому что жил долго б смысленной жизнью, без всяких мыслей, почти рас тельной. Здесь сегодня яркое солнце и тает. Отдн несколько дней и присмотрюсь. Несмотря на тупос всё происшедшее меня радует. — Произошло то, чего кто ещё оценить не может, ибо таких масштабов исто: ещё не знала. Не произойти не могло, случиться мо только в России... Для меня мыслима и приемлема б: щая Россия, как великая демократия (не непременно новая Америка).

Письмо к матери (19 марта 1911)

Бродил по улицам, смотрел на единственное в мире истории зрелище, на весёлых и подобревших людей, шавших на нечищенных улицах без надзора. Необычайное сознание того, что всё можно, грозное, захватывающее дух и страшно весёлое. Может случиться очень многое, минута для страны, для государства, для всяких „особенностей“ — опасная, но всё побеждается тем сознанием, что произошло чудо и, следовательно, будут ещё чудеса. Никогда никто из нас не мог думать, что будет свидетелем таких простых чудес, совершающихся ежедневно.

Ничего не страшно, боятся здесь только кухарки. Как-то бы, можно всего бояться, но ничего страшного нет, необыкновенно величественна вольность, военные автомобили с красными флагами, солдатские шинели с красными бантами, Зимний дворец с красным флагом на крыше. Выгорели до тла Литовский замок и окружный парк, бросается в глаза вся красота их фасадов, вылинявших огнём, вся мерзость, безобразившая их внутри, выгорела. Ходишь по городу, как во сне.

Письмо к матери (23 марта 1917 г.)

В этом году пасха проходит так безболезненно, как некогда. Оказывается теперь только, что насилие самодержавия чувствовалось всюду, даже там, где нельзя было предполагать.

Письмо к матери (2 апреля 1917 г.)

Всё будет хорошо, Россия будет великой. Но как долго ждать и как трудно дожидаться.

Записная книжка (22 апреля 1917 г.)

Сегодня я должен бы был быть в кадетском клубе, куда М-ше Кокошкина, муж её и В. Д. Набоков созывают несколько литераторов для решения разных пред-

варительных вопросов о подготовке к Учредительному Собранию. М-те Кокошкина убеждала меня по телефону в прелести моих стихов и моей любви к России, я же старался внушить ей, что я склоняюсь к с.-р., а втайне — и к большевизму и что, по моему мнению, сейчас именно любовь к России клонит меня к интернациональной точке зрения, и заступился за травмированного всеми Горького.

Письмо к матери (7 июня 1917 г.)

Нового личного ничего нет, а если б оно и было, его невозможно было бы почувствовать, потому что содержанием всей жизни становится всемирная Революция, во главе которой стоит Россия. Мы так молоды, что в несколько месяцев можем совершенно поправиться от трёхсотлетней болезни. Наша Демократия в эту минуту действительно „опоясана бурей“ и обладает непреклонной волей, что можно видеть и в крупном и в мелком каждый день. Я был на Съезде Советов С[олдатских] и Р[абочих] Д[епутатов] и вообще вижу много будущего, хотя и погружён в работу над прошлым — безвозвратно прошедшим.

Всё это — только обобщения, сводка бесконечных мыслей и впечатлений, которые каждый день трутся и шлифуются о другие мысли и впечатления, увя, часто противоположные моим, что заставляет постоянно злиться, сдерживаться, нервничать, иногда — просто ненавидеть „интеллигенцию“. Если „мозг страны“ будет продолжать питаться всё теми же ирониями, рабскими страхами, рабским опытом усталых наций, то он и перестанет быть мозгом, и его вышвырнут — скоро, жестоко и величаво, как делается всё, что действительно делается теперь. Какое мы имеем право бояться своего великого, умного и доброго народа? А могли бы своим опытом, купленным кровью детей, поделиться с этими детьми.

Письмо к Л. Д. Блок (21 июня 1917 г.)

Тщательно взвесив для себя ваше предложение вступить в число членов Лиги русской культуры, я пришёл к заключению, что только одно обстоятельство могло бы служить для меня препятствием: это обстоятельство выражается и конкретно и символически в отсутствии среди учредителей имени Горького, или говоря ещё больнее и острее: *есть* М. В. Родзянко и *нет* Горького... Всякий скажет, что в истории русской культуры имя автора „Исповеди“ и „Детства“ знаменательнее, чем имя председателя IV Думы, что бы ни произошло.

Письмо к П. В. Струве (30 июля 1917 г.)

„Россия гибнет“, „России больше нет“, „вечная память России“, — слышу я вокруг себя.

Но передо мной — Россия: та, которую видели в устрашающих и пророческих снах наши великие писатели; тот Петербург, который видел Достоевский; та Россия, которую Гоголь назвал несущейся тройкой.

Россия — буря. Демократия приходит „опоясанная бурей“, говорит Карлейль.

России суждено пережить муки, унижения, разделения; но она выйдет из этих унижений новой и — по-новому — великой.

В том потоке мыслей и предчувствий, который захватил меня десять лет назад, было смешанное чувство России: тоска, ужас, покаяние, надежда.

То были времена, когда царская власть в последний раз достигла, чего хотела: Витте и Дурново скрутили революцию верёвкой; Столыпин крепко обмотал эту верёвку о свою нервную дворянскую руку. Столыпинская рука слабела. Когда не стало этого последнего дворянина, власть, по выражению одного весьма сановного лица, перешла к „поденщикам“; тогда верёвка ослабла и без труда отвалилась сама.

Всё это продолжалось немного лет; но немногие годы легли на плечи, как долгая, бессонная, наполненная призраками ночь.

Мы, русские, переживаем эпоху, имеющую не много равных себе по величию. Вспоминаются слова Тютчева:

Блажен, кто посетил сей мир
В его минуты роковые,
Его призвали вссблагие,
Как собеседника на пир,
Он их высоких зрелищ зритель...

Не дело художника — смотреть за тем, как исполняется задуманное, печься о том, исполнится оно, или нет. У художника — всё бытовое, житейское, быстро сменяющееся — найдёт своё выражение потом, когда перегорит в жизни. Те из нас, кто уцелеет, кого не „изомнёт с налёту вихорь шумный“, окажутся властителями неисчислимых духовных сокровищ. Овладеть ими, вероятно, сможет только новый гений, пушкинский Арион; он, „выброшенный волною на берег“, будет петь „прежние гимны“ и „ризу влажную свою“ сушить „на солнце, под скалою“.

Дело художника, *обязанность* художника — видеть то, что задумано, слушать ту музыку, которой гремит „разорванный ветром воздух“.

Что же задумано?

Переделать всё. Устроить так, чтобы всё стало новым; чтобы лживая, грязная, скучная, безобразная наша жизнь стала справедливой, чистой, весёлой и прекрасной жизнью.

Когда такие замыслы, искони таящиеся в человеческой душе, в душе народной, разрывают сковывавшие их путы и бросаются бурным потоком, доламывая плотины, обсыпая лишние куски берегов, это называется революцией. Меньшее, более умеренное, более низмен-

е называется мятежом, бунтом, переворотом. Но это называется *революцией*.

Она сродни природе. Горе тем, кто думает найти в революции исполнение только своих мечтаний, как бы высоки и благородны они ни были. Революция, как грозной вихрь, как снежный буран, всегда несёт новое и неожиданное; она жестоко обманывает многих; она легко калечит в своём водовороте достойного; она часто выносит на сушу невредимыми недостойных; но — это в частности, это не меняет ни общего направления потока, ни того грозного и оглушительного гула, который издаёт поток. Гул этот, всё равно, всегда — о *вещном*.

Размах русской революции, желающий охватить весь мир (меньшего истинная революция желать не может, исполнится это желание или нет, — гадать не нам), таков: она лелеет поднять мировой циклон, который донесёт в заметённые снегом страны — тёплый ветер и нежный запах апельсиновых рощ; увлажит спалённые солнцем степи юга — прохладным северным дождём.

„Мир и братство народов“ — вот знак, под которым проходит русская революция. Вот о чём ревет её поток. Вот музыка, которую имеющий уши должен слышать.

Русские художники имели достаточно „предчувствий и предвестий“ для того, чтобы ждать от России именно таких заданий. Они никогда не сомневались в том, что Россия — большой корабль, которому суждено большое плаванье. Они, как и народная душа, их вспоившая, никогда не отличались расчётливостью, умеренностью, аккуратностью: „всё, всё, что гибелью грозит“, таило для них „неизъяснимы наслажденья“ (Пушкин). Чувство неблагополучия, незнания о завтрашнем дне, сопровождало их повсюду. Для них, как для народа, в его самых глубоких мечтах, было *всё* или *ничего*. Они знали,

что только о прекрасном стоит думать, хотя „прекрасное трудно“, как учил Платон.

Великие художники русские — Пушкин, Гоголь, Достоевский, Толстой — погружались во мрак, но они же имели силы пребывать и таиться в этом мраке: ибо они верили в свет. Они знали свет. Каждый из них, как весь народ, выносивший их под сердцем, скрежетал зубами во мраке, отчаяньи, часто злобе. Но они знали, что рано, или поздно, *всё будет по-новому*, потому что *жизнь прекрасна*.

Жизнь прекрасна. Зачем жить тому народу, или тому человеку, который втайне разуверился во всём? Который разочаровался в жизни, живёт у неё „на подаянии“, „из милости“? Который думает, что жить „не особенно плохо, но и не очень хорошо“, ибо „всё идёт своим путём“: путём... эволюционным; люди так же вообще плохи и несовершенны, что дай им только бог прокряхтеть свой век кое-как, сколачиваясь в общества и государства, ограждаясь друг от друга стенками прав и обязанностей, условных законов, условных отношений...

Так думать не стоит; а тому, кто так думает, ведь и жить не стоит...

Жить стоит только так, чтобы предъявлять безмерные требования к жизни: всё, или ничего; ждать неожиданного; верить не в „то, чего нет на свете“, а в то, что должно быть на свете; пусть сейчас этого нет, и долго не будет. Но жизнь *отдаст* нам это, ибо она — *прекрасна*.

Всем телом, всем сердцем, всем сознанием — слушайте Революцию.

„Интеллигенция и революция“ (январь 1918 г.)

Может быть, весь мир (европейский) озлится, испугается и ещё прочнее осядет в своей лжи. Это *не бу-*

дет надолго. Трудно бороться против „русской заразы“, потому что *Россия заразила уже здоровьем человечество*. Все догматы расшатаны, им не вековать.

Дневник (20 февраля 1918 г.)

...так как „слова писателя суть его дела“, то я считаю своим долгом ответить на вопрос, не волнующий, а сжигающий меня,— что делать сейчас художнику.

1) Художнику надлежит знать, что той России, которая была,— нет и никогда уже не будет. Европы, которая была, нет и не будет. То и другое явится, может быть, в удесятёрённом ужасе, так что жить станет нестерпимо. Но того рода ужаса, который был, уже не будет. Мир вступил в новую эру. *Та цивилизация, та государственность, та религия— умерли. Они могут ещё вернуться и существовать, но они утратили бытие*, и мы, присутствовавшие при их смертных и уродливых корчах, может быть, осуждены теперь присутствовать при их гниении и тлении; присутствовать, доколе хватит сил у каждого из нас. Не забудьте, что Римская империя существовала ещё около пятисот лет после рождения Христа. Но она только *существовала*, она раздувалась, гнила, тлела — уже мёртвая.

2) Художнику надлежит пылать гневом против всего, что пытается гальванизировать труп. Для того, чтобы этот гнев не вырождался в злобу (злоба — великий соблазн), ему надлежит хранить огонь знания о величии эпохи, которой никакая низкая злоба недостойна. Одно из лучших средств к этому — не забывать о *социальном неравенстве*, не унижая великого содержания этих двух малых слов ни „гуманизмом“, ни сентиментами, ни политической экономией, ни публицистикой. Знание о социальном неравенстве есть знание высокое, холодное и гневное.

3) Художнику надлежит готовиться встретить ещё бо-

лее великие события, имеющие наступить, и, встретив, суметь склониться перед ними.

Ответ на анкету (13 мая 1918 г.)

...пора перестать прозёвывать совершенно своеобразный, открывающий новые дали русский строй души. Он спутан и тёмнен иногда; но за этой тьмой и путаницей, если удосужитесь в них взглянуться, вам откроются новые способы смотреть на человеческую жизнь.

*„Что надо запомнить об Аполлоне Григорьеве“
(весна 1918 г.)*

России суждено играть в мире свою особую роль, отличную от Европы, и идти по пути своего ей одной присущего развития.

Казалось бы, развитие народов и государств совершается по одним и тем же законам и, следовательно, в том утверждении, что Россия развивается как-то особенно, содержится противоречие.

Оно в нём и содержится. Однако назвать его лучше не противоречием, а *антиномией*, следуя примеру нашего историка Ключевского, который, полагая, что „обязанные во всём быть искренними искателями истины, мы всего менее можем обольщать самих себя, когда хотим измерить свой исторический рост“, решил назвать все процессы исторического развития России с начала XVII века „полными противоречий аномалиями“ или историческими *антиномиями*, исключениями из правил исторической жизни, произведениями своеобразного местного склада условий.

Ключевский делает из этого основного положения тот вывод, что русская жизнь порождала „ненормальные явления“ и что ход развития России „напоминает полёт птицы, которую вихрь несёт и подбрасывает не в меру силы её крыльев“. С этими выводами также можно спо-

рить, а второй из них, недаром заключённый в столь блестящую форму образа, открывает, по моему мнению, безбрежные перспективы и даёт возможность развивать совершенно новые точки зрения на русское будущее.

*„Размышления о скудости нашего репертуара“
(2 июня—29 августа 1918 г.)*

Всё наше прошлое представляется на суд поколениям следующим за нами людям, очень отличающимся от нас, потому что переворота бóльшего, чем переживаем мы, русская история не знала по крайней мере двести лет (с Петра), а то и триста лет (Смутное время).

Может быть, огромная часть нашего духовного прошлого будет переоценена и сдана в исторический архив. Однако мы надеемся, что мы — люди не только сегодняшнего дня. Именно потому мы считаем, что не имеем права суетиться в дыму пожара, который нас окружает, среди чёрных груд шлака людского, которым засыпана земля. К тому же наследие, которое мы получили, есть, к счастью, наследие духовное, которое в огне не горит.

Именно сейчас весь путь, пройденный нашими предками, вспоминается ярко; не отрицаем того, что особенно это воспоминание может быть предсмертное: пред смертью вдруг ярко вспыхивает воспоминание о прожитом, чтобы вслед за тем быстро погаснуть. Однако такая возможность ничуть не смущает нас: воспоминание здесь, с нами, оно неотступно; мы находимся в здравом уме и твёрдой памяти, и весь крестный путь русской духовной жизни проходит сквозь наше сердце, горит в нашей крови. По слову Фета:

Как гордость дум, как храм молитвы,
Страданья в прошлом восстают.

„Страданья“ — ошибки, падения, взлёты, всё, добытое человеческой кровью. Имеем ли мы право предавать

забвению добытое кровью? Нет, не имеем. Надеемся ли мы, что добытое кровью сослужит ещё службу людям будущего? Надеемся. И потому мы должны представить с возможной полнотой двухвековую жизнь русского слова, начиная с бедного Посошкова, открывшего собой длинный ряд тех, кого волновал основной вопрос эры, социальный вопрос, кто неустанно твердил о народе, земле, образовании, и кончая — увы! — тоже ещё бедным человеком, который плакал прекрасными слезами накануне жестокого, трагического, забывшего слёзы XX века.

„О списке русских авторов“ (декабрь 1919 г.)

Россия — молодая страна, и культура её — синтетическая культура. Русскому художнику нельзя и не надо быть „специалистом“. Писатель должен помнить о живописце, архитекторе, музыканте; тем более — прозаик о поэте и поэт о прозаике. Бесчисленные примеры благотельного для культуры общения (вовсе не непременно личного) у нас налицо; самые известные — Пушкин и Глинка, Пушкин и Чайковский, Лермонтов и Рубинштейн, Гоголь и Иванов, Толстой и Фет.

Так же, как неразлучимы в России живопись, музыка, проза, поэзия, неотлучимы от них и друг от друга — философия, религия, общественность, даже — политика. Вместе они и образуют единый мощный поток, который несёт на себе драгоценную ношу национальной культуры.

„Без божества, без вдохновенья“ (апрель 1921 г.)

СОДЕРЖАНИЕ

<i>Вл. Орлов. Александр Блок и Россия</i>	3
<i>Стихи о России</i>	
Осенняя воля	25
Не мани меня ты, воля...	27
Русь	28
Холодный день	30
Сын и мать	32
Я ухо приложил к земле	34
Тропами тайными, ночными...	35
О смерти	36
В густой траве пропадёшь с головой	41
Родине	42
На поле Куликовом	43
1. Река раскинулась. Течёт, грустит лениво...	43
2. Мы, сам друг, над степью в полночь стали...	44
3. В ночь, когда Мамай залёг с ордою...	45
4. Опять с вековой тоскою...	46
5. Опять над полем Куликовым...	47
На поле Куликовом (Я живу в отдалённом скиту)	49
Россия	50
Осенний день	52
Под шум и звон однообразный...	54
Так. Буря этих лет прошла	55
В голодной и больной неволе...	56

Русь моя, жизнь моя, вместе ль нам маяться?	57
На железной дороге	58
Посещение	60
Возмездие (Вступление ко II главе поэмы)	62
Теперь — за мной, читатель мой (Из I главы поэмы „Возмездие“)	66
Да. Так диктует вдохновенье...	70
Сны	71
Новая Америка	73
Последнее напутствие	76
Грешить бесстыдно, непробудно	78
Задебренные лесом «кручи»	80
Ветер стих, и слава зарсвая	81
Петроградское небо мутилось дождем	82
Рождённые в года глухие	84
Я не предал белое знамя	85
Коршун	86
Встань, выйди поутру на муг (Из I главы поэмы „Воз- мездие“)	87
Скифы	88
<i>Двенадцать</i>	92
<i>О России, русском народе и русской культуре</i> (Выдержки из статей, дневников и писем)	106



Редактор *И. Ширяев*

Технический редактор *Л. Ермоленко*

Сдано в набор 16 V—1945 г. Подписано к печати 25/X—1945 г. А21166. 4/ печ. л. 5,35 уч.-авт. л. Формат 70×108 1/32. Тираж 25000. Цена 2 руб.

